

Украинская ассоциация
преподавателей русского языка
и литературы

Киевский национальный
университет
им. Тараса Шевченко

Московский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова

Русистика

Сборник научных трудов
Выпуск 11

Основан в 2001 году

Рецензенты:

д-р филол. наук, проф. **Л. И. Шевченко**,
д-р филол. наук **И. А. Синица**

В сборнике рассматриваются актуальные проблемы семантики и функционирования языковых единиц, коммуникативной лингвистики, лингвокультурологии, истории и теории литературы, истории литературной критики и поэтики.

Для научных работников, преподавателей вузов, средних учебных заведений, аспирантов, студентов-филологов.

Редакционная коллегия: **Л. А. Кудрявцева** (главный редактор), д-р филол. наук, проф. (Киев); **Т. А. Пахарева** (литературный редактор), д-р филол. наук, проф. (Киев); **А. А. Бондаренко** (ответственный секретарь), канд. филол. наук, доц. (Киев); **Е. А. Андрущенко**, д-р филол. наук, проф. (Харьков); **Г. Ю. Богданович**, д-р филол. наук, проф. (Симферополь); **И. Т. Вепрева**, д-р филол. наук, проф. (Екатеринбург); **М. М. Гиршман**, д-р филол. наук, проф. (Донецк); **В. А. Гусев**, д-р филол. наук, проф. (Днепропетровск); **В. В. Дубичинский**, д-р филол. наук, проф. (Харьков); **Л. П. Иванова**, д-р филол. наук, проф. (Киев); **М. А. Карпенко**, д-р филол. наук, проф. (Киев); **Ф. М. Литвинка**, д-р пед. наук, проф. (Белгород); **В. М. Ляпон**, д-р филол. наук, проф. (Москва); **Н. Г. Озерова**, д-р филол. наук, проф. (Киев); **Е. С. Отин**, д-р филол. наук, проф. (Донецк); **М. Л. Ремнева**, д-р филол. наук, проф. (Москва); **С. К. Росовецкий**, д-р филол. наук, проф. (Киев); **Н. В. Слухай**, д-р филол. наук, проф. (Киев); **Е. С. Снитко**, д-р филол. наук, проф. (Киев); **В. И. Шаховский**, д-р филол. наук, проф. (Волгоград); **А. М. Подшивайлова**, канд. филол. наук (Киев).

Корректор – **М. М. Тягунова**, канд. филол. наук, доц. (Киев).

Макетирование – **И. Г. Приходько**, канд. филол. наук (Киев).

Адрес редакционной коллегии: 01601, Киев, ул. Владимирская, 58, комн. 9, тел. (+38044) 239 34 69, e-mail: ros_mova@ukr.net

Затраты на реализацию Проекта полностью покрыты за счет Гранта, предоставленного Международным Фондом "Русский мир" (Договор гранта № 565Гр/285-10)

Наукове видання

Русистика

Збірник наукових праць

Випуск 11

Оригінал-макет виготовлено Видавничо-поліграфічним центром "Київський університет"



Підписано до друку 18.04.11. Формат 60х84^{1/8}. Вид. № 22. Гарнітура Arial. Папір офсетний. Друк офсетний. Наклад 350. Ум. друк. арк. 11,63. Обл.-вид. арк. 12,5. Зам. № 211-5648.

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

01601, Київ, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43

☎ (38044) 239 32 22; (38044) 239 31 61; тел./факс (38044) 239 31 28

E-mail: vpc@univ.kiev.ua

Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02.

К ЮБИЛЕЮ МАРГАРИТЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ КАРПЕНКО

*В мае 2011 года празднует свой 85-летний юбилей наш друг и учитель – профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко **МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА КАРПЕНКО**, постоянный член редколлегии журнала “Русистика”, заведующий кафедрой русского языка (1977–1991 гг.), председатель Совета ветеранов, известный ученый, активный участник международных и всеукраинских научных конференций.*

М. А. Карпенко родилась в Киеве 18 мая 1926 года. В 1949 году закончила филологический факультет Киевского национального университета, в 1954 году стала кандидатом, а в 1974 году – доктором наук. В 1976 году ей было присвоено звание профессора кафедры русского языка. В 1984 году за значительные успехи в работе Маргарите Александровне присвоили почетное звание заслуженного работника высшей школы Украины, а в 1996 году она была избрана академиком Академии высшей школы Украины.

Маргарита Александровна имеет обширную сферу научных интересов: русское, украинское, восточнославянское языкознание, социолингвистика, лингвокультурология, теория художественной речи, история языкознания. Благодаря М. А. Карпенко в 1949 году в Киевском государственном университете впервые в Украине было введено новое образовательное и научное направление – изучение русского языка (а позже и украинского) как иностранного. Ее перу принадлежит более 260 научных и научно-



методических публикаций на русском, украинском, немецком, французском языках, в том числе 5 индивидуальных и 10 коллективных монографий. Международное признание получил основанный профессором М. А. Карпенко республиканский межведомственный сборник “Русское языкознание”, ответственным редактором которого она была на протяжении 12 лет (1980 – 1992 гг.). В разные годы Маргарита Александровна была членом редколлегии известнейших периодических изданий: “Вестник Киевского университета. Серия филологии”, “Русский язык за рубежом” (Москва), “Русский язык и литература в учебных заведениях Украины”, “Мова і культура” (Киев), “Проблеми славістики” (Луцк) и др.

Ученики Маргариты Александровны, в числе которых более 50 кандидатов и докторов филологических наук, – специалисты по русской, украинской, романо-германской филологии и другим гуманитарным профилям – плодотворно работают на Украине и более чем в 20 странах Европы, Азии, Америки.

Заслуги ученого, талантливого организатора и педагога были отмечены медалями, памятными знаками, почетными грамотами. В их числе: Орден Княгини Ольги III ст. (2004 г.), награда Ярослава Мудрого АН ВШ Украины (2006 г.), медаль А. С. Пушкина Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (2006 г.), медаль “Ушинский К. Д.” Академии педагогических наук Украины (2009 г.), Почетная грамота Верховного Совета Украины (2009 г.) и др.

Редакция сборника научных трудов “Русистика”, Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, кафедра русского языка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и все, кому посчастливилось работать и общаться с профессором М. А. Карпенко, искренне поздравляют Маргариту Александровну со знаменательной датой, желают радостных и счастливых лет жизни, крепкого здоровья и успешных свершений во благо прекрасного дела – служения людям, науке, Киевскому университету.

Ученики и коллеги

М. А. Карпенко (Київ)

**ПЕРВОЕ ПИСЬМО П. Й. ШАФАРИКА М. А. МАКСИМОВИЧУ (1835 г.):
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
(к 50-летию публикации)**

Жизненный путь и творческая деятельность выдающегося украинского и русского ученого-энциклопедиста Михаила Александровича Максимовича (1804–1873 гг.), первого ректора новосозданного в Киеве (1834 г.) Университета Св. Владимира, где он был руководителем первого (философского) факультета, кафедры русской словесности, основателем в 30-е годы XIX в. Киевской историко-филологической школы (далее – КИФШ) на инновационной основе “новой схемы языков славянских”, восточнославянского языкознания и научной украинистики, не раз привлекали и привлекают внимание исследователей.

Казалось бы, трудно что-либо добавить к той обширной литературе (а тем более – первоисточникам), которой располагают сейчас специалисты и все, кто интересуется этой темой. Однако следует признать, что она все еще полностью не раскрыта. Одним из свидетельств этого является первое письмо П. Й. Шафарика к М. А. Максимовичу, датированное 25 сентября 1835 года, ставшее известным лишь многие годы спустя. Оно до сих пор не получило фиксации ни в одном перечне эпистолярного наследия П. Й. Шафарика, не попало ни в один биобиблиографический указатель – как в Чехии и Словакии, так и в России и Украине.

Бесценную находку – оригинал этого письма (на немецком языке) в далеком 1959 году посчастливилось обнаружить в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки УССР нашей современнице Алле Иосифовне Багмут (1929–2008 гг.), выпускнице (1952 г.) филологического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко (далее КГУ), аспирантуры по кафедре славянской филологии (1955 г., научный руководитель акад. Л. А. Булаховский).

Лингвистические интересы молодой исследовательницы, как и всего послевоенного поколения украинских филологов, формировались в студенческие и аспирантские годы в русле славистических идей КИФШ. Их носителями в 40–50-е годы XX в. были выдающиеся представители филологической мысли – ведущие профессора КГУ академики АН УССР Н. К. Гудзий и М. Я. Калинович, члены-корреспонденты АН УССР С. И. Маслов и П. Н. Попов, профессор А. А. Назаревский. Воспитанники Университета Св. Владимира, в молодости (1907–1914 гг.) активные участники известного Семинария русской филологии проф. В. Н. Перетца (1870–1935 гг.), тогда члена-корреспондента Петербургской академии наук, со временем (1914 г.) ее действительного члена, они приложили немало усилий, чтобы научные достижения Семинария и в дальнейшем содействовали распространению и развитию славистических идей КИФШ в Киевском университете как одном из ведущих центров научной славистики с 30-х годов XIX в.

Характерной особенностью филологов этой школы, при всем разнообразии их творческих вкусов и профессиональной специализации (фольклористика, языкознание, литературоведение), было неизменное внимание к украинской, русской, шире восточнославянской теме – неотъемлемому компоненту славистических исследований. В таком творческом окружении, при поддержке славистов-языковедов КГУ – акад. Л. А. Булаховского, проф. Н. К. Грунского, проф. П. П. Плюща, доц. П. Д. Тимошенко, исследования А. И. Багмут с самого начала получили необходимую объективность, глубину, соответствующую направленность. Благодаря этому возникло устойчивое единство западнославянской (по основной специальности) и восточнославянской проблематики, чем проникнута вся дальнейшая деятельность проф. А. И. Багмут – известного украинского богемиста, языковеда широкого славистического профиля. Ей довелось не только разыскать и впервые опубликовать письмо П. Й. Шафарика (1961 г.)¹, но и предложить его первую, оригинальную интерпретацию, ориентированную преимущественно на восточнославянские измерения.

В том же году появилась публикация В. Скрипки, где дан иной вариант украинского перевода письма и несколько иная его трактовка. А. И. Багмут так комментирует ситуацию: “Письмо Шафарика

к М. А. Максимовичу публикуется впервые. Оригинал письма был найден нами осенью 1959 года в Рукописном отделе ГПБ УССР в Киеве (шифр III 5440). В 1961 году аспирантом Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР В. Скрипкой в журнале «Радянське літературознавство» № 3 опубликовано сообщение на ту же тему и перевод письма П. Й. Шафарика (без оригинала), о котором, по словам В. Скрипки, ему стало известно в конце 1960 года².

Понятно, что, несмотря на общий источник исследования, интерпретационные подходы к нему (как и тексты украинских переводов) нельзя считать идентичными. Существует ряд моментов, формирующих специфику интерпретационных версий. Так, в статье А. И. Багмут «Листування М. О. Максимовича і П. Й. Шафарика» в поле зрения автора – оба участника переписки, причем на первый план выходит адресат. У В. Скрипки («Невідомий лист П. Й. Шафарика до М. О. Максимовича») на первом плане – адресант (П. Й. Шафарик) в связи с памятной датой – 100-летием со дня смерти², поэтому круг анализируемых вопросов несколько ограничен.

А. И. Багмут подчеркивает, что эпистолярные источники первой половины XIX в. свидетельствуют о значительном интересе украинских ученых (М. А. Максимовича, И. И. Срезневского, О. М. Бодянского) к чешскому народу, его языку, литературе и вместе с тем чешских ученых – к народу украинскому. По ее мнению, характерной с этой точки зрения «является переписка *двух великих славянских ученых* (курсив мой. – М.К.) – Павла Йозефа Шафарика и Михаила Александровича Максимовича... Они глубоко интересовались языком, литературой, народным поэтическим творчеством, историей славянских народов». Автор ставит адресанта и адресата рядом, на один уровень, поддерживая в этом П. Й. Шафарика, который первым, по своей инициативе, обратился к младшему коллеге как равному, достойно оценив научные заслуги исследователя и издателя украинских народных песен («Малороссийские песни», М., 1827), вышедшего на инновационные восточнославянские и общеславянские характеристики.

Длительное время существовало мнение, что переписка П. Й. Шафарика с украинскими и русскими учеными в 30–40-х годах XIX в. будто бы «началась после того, как Максимович, по просьбе М. Погодина, послал Шафарика в Прагу свои книжки (конец 1839 года)». Из-за отсутствия других данных, эта дата была принята Ив. Бриком в работе «Материалы к истории украинско-чешских взаимоотношений в первой половине XIX в.», опубликованной во Львове в 1921 году³. Как там указано, «начало переписки необходимо связать с посылкой книжек Максимовичем Шафарика, его уважением и благосклонностью к Шафарика, вызванными не только книгой «Slovanské starožitnosti», но и письмами Погодина и Бодянского – последнего во время пребывания в Праге».

Позже, когда появились основания (одно из писем М. А. Максимовича к О. М. Бодянскому) считать началом переписки 1838 год, эта дата была принята исследователями, в частности В. А. Францевым⁴, и до конца 50-х годов XX в. имела право на существование. Найденное письмо это право устранило, однако трудно сказать, в какой именно мере: информация о нем, по нашим данным, широкого распространения длительное время не получала. В частности, в биобиблиографический указатель работ о М. А. Максимовиче статья А. И. Багмут, где помещен немецкий оригинал и первый украинский перевод письма, попала лишь в 2006 году⁵, как и сообщение В. Скрипки⁶.

Первое письмо П. Й. Шафарика к М. А. Максимовичу мотивировало новую дату начала переписки и новую ее ситуацию. Оно стало неопровержимым доказательством того, что общение ученых-славистов началось, во-первых, значительно раньше, чем считалось, а, во-вторых, – по инициативе П. Й. Шафарика, именно при его «уважении и благосклонности» к М. А. Максимовичу, и, можем думать, не было тогда связано ни с М. П. Погодиным, ни с О. М. Бодянским, что существенно уточняет ряд славистических, в частности восточнославянских характеристик. Высокая оценка одним из основателей славистики П. Й. Шафариком «Малороссийских песен» М. А. Максимовича, открывших, по словам автора письма, «новый, богатый, до этого времени малоизвестный источник как для нашего (славянского. – М.К.) народоведения, так и для нашего языкознания», здесь выходит на общеславянский уровень.

Это прямо связано с принципиальным для научной славистики вопросом о самостоятельном статусе украинского языка, который, как и белорусский, в классификационной системе славянских языков, созданной в начале XIX в. «отцом славянской филологии» Й. Добровским, отсутствовал. В 30-е годы, после выхода в свет «Малороссийских песен», когда М. А. Максимович, вопреки этой системе, впервые выдвинул тезис о самостоятельном статусе украинского языка⁷, П. Й. Шафарик стремился модифицировать двучленную систему Й. Добровского (западославянские языки, южнославянские языки), но ей на смену уже уверенно шла трехчленная система, мотивированная «новой схемой языков славянских» (восточнославянские языки, западославянские языки, южнославянские языки)⁸. Не исключено, что П. Й. Шафарик именно потому заинтересовался работами младшего коллеги, что понял: восточнославянская группа языков в целом и каждый из них в частности (украинский, русский,

белорусский) имеют полное право на особый статус, их придется ввести в классификационную систему – рано или поздно. “Малороссийские песни” стали первым, но действенным стимулом для этого.

А. И. Багмут обращает внимание на весомость лингвистического аспекта для обоих участников переписки, уточняя: “Интересно отметить, что, посылая Шафарiku первую часть «Истории древней русской словесности», М. А. Максимович высказал предположение, что именно замечание о древнем русском языке и диалектах, т. е. именно лингвистические вопросы, больше всего заинтересуют Шафарика”. Это оказалось справедливым по отношению к “новой схеме языков славянских”, о чем автор статьи говорит: “Это открытие Максимовича положительно было воспринято Шафариком. Известны также одобрительные слова об этом открытии Максимовича такого выдающегося русского диалектолога, как В. Даль”¹⁰. Приведенная характеристика требует уточнения, так как словом “открытие” обозначены по крайней мере три языковедческие инновации М. А. Максимовича: выделение им в классификационной системе, во-первых, особой русской / восточнославянской группы, во-вторых, в ее составе – трех самостоятельных языков (малорусского / украинского, великорусского / русского и белорусского); в-третьих, – диалектов / говоров великорусского / русского языка. В. И. Даль вскоре воспользовался этим в своём “Толковом словаре живого великорусского языка”. Он одним из первых принял инновационную классификацию М. А. Максимовича в ее полном объеме, о чем свидетельствуют статьи В. И. Даля 50–60-ых годов XIX в. и соответствующие характеристики словаря – от введения до системы лексикографических помет¹¹.

Лингвистические интересы П. Й. Шафарика в области восточнославянских языков, в частности – украинского были довольно широкими и далеко не случайными. Кроме переписки, шел также активный обмен печатными трудами. П. Й. Шафарик начал его, когда вместе с первым письмом передал М. А. Максимовичу сборники народных песен Я. Коллара, Ф. Л. Челаковского, Ф. Сушила. В архиве чешского ученого хранятся записи о публикациях (“*Maloruské knihy*”), полученных из Киева, в рукописном фонде – заметки об украинском языке по материалам М. А. Максимовича (“*O malóruském nářesj dle Maximoviče*”). Из первого письма П. Й. Шафарика известно, что он в 1835 году начал изучать украинский язык и просит помочь ему в этом “словом и делом” М. А. Максимовича, который за несколько лет переслал П. Й. Шафарiku немало своих публикаций – второй сборник “Украинские народные песни” (1834 г.) с автографом: “Достопочтенному и многоуважаемому у нас г. Шафарiku от Максимовича из Киева” (хранится в библиотеке П. Й. Шафарика); “Песнь о полку Игореве” (1837 г.); статьи 1830–1840 годов; “Критико-историческое исследование о русском языке” (1838 г.), “Историю древней русской словесности” (1839 г.); позже передал через О. М. Бодянского “Сборник украинских песен” (К., 1849 г.); выпуски альманаха “Киевлянин” (1841 г., 1850 г.).

Из переписки выдающихся славистов сохранились лишь два оригинала: первое письмо П. Й. Шафарика (1835 г.) и последнее (как можно предполагать) письмо М. А. Максимовича (1840 г.). Тексты – немецкий оригинал и украинский перевод первого и русский оригинал второго – А. И. Багмут приводит в своей статье, отстаивая мнение, что эта переписка имела большое значение для обоих корреспондентов: отвечала восточнославянским интересам чешского ученого в период подготовки фундаментального труда “*Slovansky nářodopis*” (1842 г.) и поддержала М. А. Максимовича в его исследованиях, прежде всего лингвистических. Говоря о книге “*Slovansky nářodopis*”, она напоминает, что информацию об Украине П. Й. Шафарик получал от своих корреспондентов, в том числе от М. А. Максимовича (весьма скромно, на наш взгляд, оценивая роль последнего). Ее следующий вывод: эта книга П. Й. Шафарика “знакомила не только чехов, но и более широкие круги – славянский и неславянский мир – со всеми славянскими народами и их языками, в частности с *русским, украинским и белорусским* (курсив мой. – М.К.)”, где названы три восточнославянских языка, свидетельствует о прямом влиянии славистической концепции М. А. Максимовича, где восточнославянские языки впервые введены в классификационную систему.

Сегодня “новая схема” (как и эта славистическая концепция) признана открытием М. А. Максимовича. Неизвестно, высказал ли П. Й. Шафарик в письмах свое отношение к ней; можно думать, что он воздержался от прямых оценок, по крайней мере нигде об этом не упоминается. Тем не менее, вполне достоверно, что тема украинского языка, восточнославянская тема появились в “*Slovanském nářodopisu*” П. Й. Шафарика как отклик на инновационные идеи М. А. Максимовича, о которых ученому время от времени приходилось напоминать. В 1843 году он пишет: “... [никто] однако не может отрицать одного, что исследование южнорусского языка сравнительно с другими славянскими начато мной сперва в упомянутом издании *Малороссийских песен*, М., 1827, потом в *Исследовании о русском языке*, напечатанном в 1838 ... и в *Истории древней русской словесности*, изданной в Киеве в 1839. В этом последнем исследовании я выразил свои наблюдения и соображения о русском языке, представил наиболее полное к этому времени изложение отличительных его свойств” (примечание:

“Первыми средствами к тому мне были «Славянская грамматика» Добровского, сербские песни и словарь Караджича, также личные беседы с Каченовским, Ходаковским, Мицкевичем и Венелиным”¹².

В свое время А. И. Багмут не отважилась выделить М. А. Максимовича среди других корреспондентов: “В период 1836–1840 гг., на который, в основном, приходится и переписка с М. А. Максимовичем, П. Й. Шафарик состоит в переписке с Я. Головацким, И. Вагилевичем, О. Бодянским”. Но первое письмо П. Й. Шафарика (1835 г.) предшествовало данному периоду, а названные ученые, как и упомянутые раньше И. И. Срезневский и П. А. Лавровский, приобщились к украинской тематике позже, чем М. А. Максимович, под ощутимым воздействием его славистических идей. Этим он сразу выделяется из ряда корреспондентов П. Й. Шафарика – по времени, научному авторитету, по уровню и оригинальности разработки украинской, восточнославянской и общеславянской проблематики.

Следует учесть, что последующие обращения к первому письму П. Й. Шафарика М. А. Максимовичу не имели такого широкого диапазона поставленных и рассмотренных вопросов, как у А. И. Багмут. Уже отмечалось, что В. Скрипка сосредоточил свое внимание прежде всего на личности П. Й. Шафарика, его переписке с учеными России, Польши, Сербии, Болгарии. Первое письмо к М. А. Максимовичу оценено им как “чрезвычайно интересный документ”, который “проливает яркий свет на его (П. Й. Шафарика – М.К.) деятельность и научные планы, ... дает возможность точно датировать начало личных отношений Шафарика с Максимовичем”. Специально подчеркнуто: “К П. Й. Шафарика за наукой ехали отовсюду, у него побывали М. Погодин, И. Срезневский, В. (П. – М.К.) Прейс, О. Бодянский”¹³, однако не сказано, что первое письмо П. Й. Шафарика, где он фактически обращался “за наукой” к М. А. Максимовичу, предшествовало большинству этих поездок.

После длительного перерыва, в 90-ых годах XX в., новую интерпретацию предложил известный историк В. А. Короткий: “Это письмо свидетельствует об адекватной оценке творчества Максимовича ведущим австро-венгерским славистом, а также о важности украинского фактора в новом мире, где состоялось зарождение славянских дискурсов. Еще раз подчеркнем, что именно благодаря Максимовичу украинская проблематика вышла на европейскую арену”¹⁴. Существенно, что когда В. А. Короткий через несколько лет (2006 г.) возвращается к первому письму П. Й. Шафарика, он ищет и находит, ссылаясь на статью А. И. Багмут, дополнительные интерпретационные возможности поддержать приоритет М. А. Максимовича в общении с П. Й. Шафариком – “основоположником многих областей славистики”, одним из первых европейских ученых, вышедшим на восточнославянские, украинские измерения¹⁵.

Современная характеристика нашла отражение и в докладе (позже в статье) Т. Г. Зарицкой на заседании Круглого стола Международной научной конференции “Язык и культура” (Киев, 2003 г.): “Новое содержание это первое письмо приобретает сейчас, в контексте истории Киевского университета, славистической деятельности его первого ректора и профессора-слависта М. А. Максимовича. Поэтому так важно специально вспомнить о самом начале переписки ученых-славистов”, а также “о полемике М. А. Максимовича с Й. Добровским и П. Й. Шафариком относительно классификации славянских языков”¹⁶.

Выводы, сделанные А. И. Багмут в ее ранней работе, не потеряли значения и сегодня, но в свое время, к сожалению, не получили достойного признания, а тем самым – развития. Лишь значительно позже, в конце 90-х годов XX в., стало возможным по-настоящему оценить справедливость ее суждений о переписке “двух больших славянских ученых”, как она уже тогда их именовала. Этому способствовало новое прочтение научной биографии и публикаций М. А. Максимовича – как основателя КИФШ, первого профессора-слависта Университета Св. Владимира, который в 20–40-х годах XIX в. сыграл решающую роль в утверждении ряда славистических постулатов, новой классификационной системы славянских языков (и народов), восточнославянской темы Киевской Руси. Все это позволило М. А. Максимовичу – со временем члену-корреспонденту Петербургской АН, доктору славяно-русской филологии – занять достойное место “в ряду универсальных мыслителей Европы”, как об этом сказано в приветствии Московского университета по случаю 100-летия “Малороссийских песен” (1927 г.).

Как видим, в интерпретации А. И. Багмут – первооткрывателя письма П. Й. Шафарика – получены важные результаты, инновационные для 50-х годов XX в. и существенные для наших дней. Среди них главный – значение переписки П. Й. Шафарика и М. А. Максимовича как научно объективного филологического и историко-культурологического источника, который “содержит также материалы об истории славяноведения вообще”. Последнее положение специально не раскрыто, но в процессе дальнейшего анализа конкретных фактов и ситуаций помогает выйти на широкие обобщения.

В целом сложилась выразительная картина творческого взаимодействия двух незаурядных, выдающихся личностей. Каждой из них принадлежит ведущая роль в истории научной славистики, становление которой принято датировать концом XVIII – первыми десятилетиями XIX в. В таком ракурсе переписка П. Й. Шафарика с М. А. Максимовичем получает особую весомость для характеристики не

только персоналий (что тоже важно), но и исторических ситуаций, условий становления, развития славистики как комплексной науки с широким диапазоном действия, славистических традиций КИФШ¹⁷. Введение в активный научный обиход первого письма П. Й. Шафарика к М. А. Максимовичу имеет несомненную ценность в разных измерениях, актуальных для современной науки.

С этой точки зрения целесообразно представить здесь как первоисточник оригинал первого письма П. Й. Шафарика к М. А. Максимовичу на немецком языке (Приложение 1), его первый (1961 г.) украинский перевод А. И. Багмут (Приложение 2), а также первый (2010 г.) полный перевод на русский язык В. Ю. Залевской (Приложение 3).

¹ Багмут А. Й. Листування М. О. Максимовича і П. Й. Шафарика // Слов'янське мовознавство. – К., 1961. – Вип. 3. – С. 291. Далее цитаты даются в тексте по этой же статье. ² Скрипка В. М. Невідомий лист П. Й. Шафарика до М. О. Максимовича // Радянське літературознавство. – К., 1961. – № 3. ³ Брик Ів. Матеріали до історії українсько-чеських взаємин в першій половині XIX ст. // Українсько-руський архів. Т. XV. – Львів, 1921. ⁴ Frančev V. Korespondence Pavla Josefa Šafarika – Прага, 1927. – Том 1. ⁵ Максимович Михайло Олександрович // Ректори Київського університету. 1834–2006. Авторі: В. В. Скопенко, В. А. Короткий, Т. В. Табенська, І. І. Тіщенко, Л. В. Шевченко. – К., 2006. – С. 38. ⁶ Там же. – С. 52. ⁷ См.: Ягич І. В. История славянской филологии // Энциклопедия славянской филологии. – СПб., 1910. – Вып. 1. ⁸ См.: Карпенко М. О. Біля витоків східнослов'янського мовознавства в Київському університеті Св. Володимира // Педагог, вчений, патріот. Матеріали наукової конференції, присвяченої М. О. Максимовичу (грудень 1994). – К., 1997; Карпенко М. О. Полеміка М. О. Максимовича з Й. Добровським та П. Й. Шафариком щодо класифікації слов'янських мов (з історії східнослов'янського мовознавства) // Наукові записки Академії наук вищої школи України. – К., 1999. – Вип. 2; Карпенко М. А. Полеміка М. А. Максимовича с Й. Добровським и П. Й. Шафариком о классификации славянских языков и ее резонанс в восточнославянском языкознании // Русистика. – Вып. 3. – К., 2003. ⁹ Максимович М. А. История древней русской словесности // М. А. Максимович. Собрание сочинений. – К., 1880. – Том 3. – С. 388–389. ¹⁰ Даль В. И. О наречиях русского языка // Вестник Императорского русского географического общества. – 1852. – Кн. 5; Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. – Том I. А–З. – М., 1955. ¹¹ Карпенко М. А. “Малороссийские песни” М. А. Максимовича, его славистическая концепция и “Толковый словарь живого великорусского языка” В. И. Даля // Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования. – К., 2002. – С. 170–180. ¹² Максимович М. А. О малороссийском произношении местных имен // М. А. Максимович. Собрание сочинений. – К., 1880. – Том 3. – С. 330–331. ¹³ Скрипка В. М. Невідомий лист П. Й. Шафарика до М. О. Максимовича. – С. 121. ¹⁴ Короткий В. А. Замість висновків: Михайло Максимович у контексті “винайдення України” // Віктор Короткий, Сергій Біленький. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині XIX ст. – К., 1999. – С. 85. ¹⁵ Короткий В. А. До Павла Шафарика // Михайло Максимович. Листи. – К., 2004. – С. 281–283. ¹⁶ Зарицька Т. Г. Перший лист П. Й. Шафарика до професора-слависта Університету Св. Володимира М. О. Максимовича (1835) // Мова і культура. – К., 2005. – Вип. 8. – Т. VIII. ¹⁷ См.: Карпенко М. А. “Новая схема языков славянских” М. А. Максимовича и становление Киевской историко-филологической школы в Университете Св. Владимира // Русский язык и литература в учебных заведениях. – К., 2004. – № 5.

Приложение 1.

Первое письмо П. Й. Шафарика к М. А. Максимовичу (оригинал, 1835 г.)

Hochwohlgeborner Herr!

Ewr. Hochwohlgeboren preiswürdiges Bemühen, die Schätze der Kleinrussischen Volkspoesie durch den Druck bekannt zu machen, und hierdurch eine neue, ergiebige, bisher wenig beachtete Quelle für unser Volksthum, so wie nicht minder für unsere Sprachkunde zu erschließen, ist so erfreulich und berechtigt alle Freunde der slawischen Literatur zu so großen Hoffnungen, daß es Sie nicht befremden darf, wenn ein entfernter Unbekannter es wagt, Ihnen mittel dieser Zeilen die Gefühle seiner aufrichtigen Hochachtung auszusprechen. Empfangen Ew. Hochwohlgeboren durch die gütige Vermittlung des Herrn von Kirjewski als einen Beweis meiner Hochschätzung und als ein kleines Andenken von mir ein Paar Sammlungen von Volksliedern aus unseren Ländern, namentlich 1) Zpewanky slowenské, wydal Jan Kollár, w Budjně 1834–35.8°, 2 Bde, 2) Slowanské národnj pjsně, wydal Frant. Lad. Celakowský, w Praze 1822–27.8°, 3 Hefte. 3) Pjsně Morawské, wydal F. S. (Sušil), w Brně 1835.8°. Es würde mich ungemein freuen, wenn Sie mich über den Fortgang der Herausgabe Ihrer kleinrussischen Liedersammlung gütigt benachrichtigen wollten, und noch mehr, wenn Sie es nicht verschmäheten, mit mir in eine dauernde literarische Verbindung zu treten, und mich bei meinem kaum angefangenen Studium des Kleinrussischen mit Rath und That zu unterstützen.

Mit vorzüglichen Hochachtung verharrend

Ew. Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Paul Joseph Schaffarik
Doct. der Philos.
Prag den 25. Sept. 1835. N. St.

Первое письмо П. Й. Шафарика к М. А. Максимовичу
(украинский перевод А. И. Багмут, 1961 г.)

Вельмишановний пане!

Ваші гідні похвали зусилля, спрямовані на те, щоб опублікувати, видавши друком, скарби малоруської народної поезії і тим самим відкрити нове, багате, до цього часу маловідоме джерело як для нашого народознавства, так і для нашого мовознавства, настільки радують всіх прихильників слов'янських літератур і сповнюють їх великими надіями, що хай Вас не дивує, коли далекий невідомий Вам чоловік наважується висловити Вам в цих рядках почуття своєї щирої поваги.

Прийміть, вельмишановний пане, через ласкаве посередництво пана Киреевського, на знак моєї глибокої пошани і як маленький подарунок від мене кілька збірок народних пісень з наших країв, а саме:

1. Словацькі співанки, видав. Ян Коллар, в Будині, 1834–35, 8⁰, 2 тома;
2. Слов'янські народні пісні, видав Франт. Лад. Челаковский у Празі, 1822–27. 8⁰, 3 вип.
3. Моравські пісні, видав Ф. С. (Сушил), в Брно, 1835. 8⁰.

Мене б надзвичайно порадувало, коли б Ви люб'язно мене повідомили про дальший вихід у світ видання Вашого збірника малоруських пісень, а ще більше порадувало, коли б Ви не відмовили вступити зі мною у тривалий письмовий зв'язок і допомогли мені словом і ділом у вивченні малоруської мови, яке я тільки-но починаю.

З найщирішою повагою залишаюсь Ваш,
вельмишановний пане, найвідданіший слуга
Павел Йозеф Шафарик
доктор філософії
Прага, дня 25 вересня 1835 Н. ст.

Первое письмо П. Й. Шафарика к М. А. Максимовичу
(русский перевод В. Ю. Залевской, 2010 г.)

Милостивый государь!

Ваши достойные похвалы усилия познакомить с сокровищами малорусской народной поэзии через их публикацию, открыв таким образом новый, богатый, малоизвестный до сих пор источник для нашего народоведения и не в меньшей мере для нашего языкознания, являются столь отрадными для всех друзей славянской литературы и так их обнадеживают, что Вас не должно удивить, если далекий неизвестный человек отважится высказать Вам в этих строках чувство своего искреннего уважения. Примите, милостивый государь, при любезном содействии господина Киреевского, в знак моего глубокого уважения и в качестве скромного подарка от меня несколько сборников народных песен из наших краёв, а именно:

1. Спеванки словенске, изд. Ян Коллар, в Будині, 1834–35, 8⁰, 2 тома;
2. Славянские народные песни, изд. Франт. Лад. Челаковский в Праге, 1822–27. 8⁰, 3 выпуска.
3. Песни моравские, изд. Ф. С. (Сушил) в Брно, 1835. 8⁰.

Меня бы чрезвычайно обрадовало, если бы Вы любезно сообщили мне о дальнейшем издании Вашего сборника малороссийских песен и ещё больше порадовало, если бы Вы не отказались вступить со мной в длительное литературное общение и помочь мне словом и делом в изучении малорусского языка, которое я лишь только начинаю.

С глубочайшим почтением остаюсь Ваш,
милостивый государь, преданнейший слуга
Пауль Йозеф Шафарик
доктор философии
Прага, дня 25 сентября 1835 Н. ст.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ

Л. А. Кудрявцева (Київ)

О ЯЗЫКОВОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ

*Язык не только говор, речь:
язык есть образ всего внутреннего человека:
его ума, того, что называют сердцем,
он выразитель воспитания, всех сил умственных и нравственных.
Да, язык есть весь человек в глубоком, до самого дна его природы, смысле.
И. А. Гончаров*

Известно, что государственная языковая политика определяется в первую очередь существованием реальных языковых групп. Этот принцип положен и в основу Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств¹: чем больше та или иная языковая группа, тем большую степень поддержки его функционирования обеспечивает государство. В связи с этим особое значение в многонациональном государстве, каковым является Украина, получает вопрос языковой самоидентификации его граждан, которая при этом может не совпадать с этнической и культурной идентичностью, более того – может изменяться в зависимости от социального, политического и идеологического контекста, на что обращают внимание исследователи [см., например²].

О том, что понятие родного языка является по сути базовым для формирования языковой политики государства, говорят не только социолингвисты, но и представители других, смежных гуманитарных наук. Так, доктор социологических наук, профессор Н. А. Шульга отмечает, что именно определение родного языка выступает «основой для мобилизации отдельных групп населения политиками, объектом защиты со стороны социокультурных групп, предметом ожесточенных споров между государствами и т. д. ... Понятие «родной язык» является ключевым и для многих норм украинского законодательства, целого ряда международных документов, которые ратифицированы Украиной»³.

Обращение к данным социологических исследований и последней переписи населения (2001 г.) дает пеструю и противоречивую картину языковой самоидентификации граждан Украины. По результатам переписи 67,5% населения своим родным языком назвали украинский, 29,6% – русский и 2,6% – другие языки. Весьма показательна динамика процесса языковой самоидентификации, приведенная авторами двухтомного социологического исследования «Русский язык в Украине»⁴. Доля украиноязычных граждан имеет тенденцию к сокращению: от 66,5% в 1992 г. до 55,2% в 2009 (-11,3%). В то время как доля респондентов, назвавших в качестве родного языка русский, в таком же соотношении возрастает: от 30,8% в 1992 г. до 42,4% в 2009 (+11,6%). Социологи при этом отмечают, что столь высокий процент для украинского языка в качестве родного (67,5%) и столь низкий для русского (29,6%), зафиксированные в ходе переписи населения в 2001 г., не повторяются ни в одном из социологических исследований на протяжении 1992–2009 гг.⁵.

Более развернутую картину языковой ситуации в украинском обществе дают мониторинги, периодически проводимые Институтом социологии Национальной Академии наук Украины [далее: ИС НАНУ], начиная с 1992 г. Результаты одного из них (май 2007 г.)⁶ показали, что **свободно говорит, читает и пишет** на украинском языке 71% населения страны, на русском – 79%, **думают в повседневной жизни** исключительно на украинском – 29%, исключительно на русском – 35%, на другом языке – 1%, остальные – билингвы (украинско-русские – 9%, русско-украинские – 11%) либо носители смешанного языка, в котором используются как украинские, так и русские слова – 16%.

Языком общения в семье исключительно украинский является для 29% опрошенных, исключительно русский – для 28%, другие языки – 1%; украинско-русские билингвы – 9%, русско-украинские билингвы – 14%, носители смешанного языка – 20%.

Языком общения с коллегами по работе или учебе исключительно украинский назвали 22%, исключительно русский – 30%, другой язык – 0,5%, украинско-русские билингвы – 12%, русско-украинские билингвы – 18%, носители смешанного языка в этой функциональной сфере – 17%.

Язык общения на улицах, в магазинах и в других общественных местах исключительно украинский – 24%, исключительно русский – 31%, другой язык – 0,1%. Украинско-русских билингвов здесь зафиксировано 12%, русско-украинских – 16%, носителей смешанного языка – 18%.

Указанный мониторинг ИС НАНУ дает картину языковых предпочтений украинцев и в других сферах жизни социума. **Язык, на котором респонденты хотели бы:**

а) **слушать по радио и телевидению новости, общественно-политические передачи:** только на украинском – 19%, только на русском – 26%; **развлекательные телепередачи:** только по-украински – 13%, только по-русски – 31%; на другом языке соответственно 0,4% и 0,1%;

б) **смотреть фильмы российского производства** – только на украинском – 8%, только на русском – 62%, на другом языке – 0%;

в) **смотреть дублированные зарубежные фильмы (кроме российского производства)** – только по-украински – 14 %, только по-русски – 40 %, на другом языке – 0,2%.

Как видно из приведенных данных (ответы на косвенный вопрос о родном языке), группа украинцев, отдающих предпочтение русскому языку, во всех общественно значимых сферах (другими словами – русскоязычных) лидирует во всех позициях. Однако на прямой вопрос о родном языке 61% респондентов назвали украинский и только 38% – русский (другой язык – 1%). В то же время, по данным социологического опроса 2006 г. ИС НАНУ, в целом по Украине анкету на украинском языке хотели бы заполнить 48,5% респондентов, на русском – 51,5 (по сути, это скрытый вопрос о родном языке). Выбор русского языка для заполнения анкеты в южных и юго-восточных регионах еще более впечатляет: Луганская область – 99%, Донецкая – 96,8%, АР Крым – 95,6%, Харьковская область – 87,4%, Одесская – 84,6%, Днепропетровская – 79,7%, Запорожская – 78,4%, Херсонская – 70,7%, Николаевская – 68,1%, г. Киев – 63,2%⁷.

Закономерен вопрос: в чем причины таких значительных расхождений языковой самоидентификации украинцев в ответах на прямой и косвенный (или скрытый) вопрос о родном языке? Ответов здесь несколько. Один из них дает Н. А. Шульга, опираясь на данные мониторинга ИС НАНУ, проведенного в 2009 г. (ОМНИБУС – 2009). На вопрос “Как вы считаете, что такое родной язык?” более трети (34%) респондентов ответили, что “это язык, на котором я думаю и могу свободно общаться”. Почти столько же (32%) заявили, что “это язык национальности, к которой я принадлежу”. По мнению 24% опрошенных, “это язык, на котором говорили мои родители”, а для 8% ответивших родным языком является “язык, на котором я говорю наиболее часто”. Большой разброс мнений респондентов относительно вопроса, что такое родной язык, объясняется, как справедливо отмечает Н. А. Шульга, разным пониманием этого явления⁸.

С лингвистической точки зрения надо отметить неоднозначность и самого термина. Так, в “Словаре социолингвистических терминов” Сулейменовой Э. Д. и др. в соответствующей словарной статье представлено 2 значения: 1. Язык, усваиваемый ребенком в раннем детстве бессознательно, путем подражания речи взрослых, и навыки использования которого могут сохраняться или утрачиваться взрослым человеком; 2. Язык идентификации с этносом, занимающий важное место в языковом сознании любого народа и связанный с действием ментальных стереотипов, дифференцирующих понятия “свое” и “чужое”⁹.

Словарь социолингвистических терминов, подготовленный авторским коллективом Института языкознания Российской Академии наук, фиксирует 4 значения названного термина: 1. То же, что и материнский язык. Первый язык, который усвоен человеком с детства (“язык колыбели”). 2. То же, что этнический язык. 3. То же, что и функционально первый язык. 4. То же, что и национальный язык¹⁰.

Многозначность термина – не столь редкое, хотя и не желаемое явление в различных терминосистемах. Но для широкого, обиходного понимания термина “родной язык”, вне научной концептосферы, наиболее важным представляется его толкование в словарях, адресованных не специалисту в этой сфере знаний, а рядовому носителю языка. Ср., например, в Толковом словаре русского языка С. М. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: родной язык – “язык своей родины, на котором говорят с детства”¹¹.

Граждане Украины, которые с детства говорят на разных языках (см. данные выше-приведенных социологических исследований), а язык Родины отождествляют с государственным языком, по крайней мере, их в этом в течение 20 лет независимости убеждает вся властная пропагандистская машина (управленческие структуры, школа, средства массовой информации и т. д.), попадают в условия непростого выбора: с одной стороны – низкий социально-психологический статус родного русского языка, невозможность получить на нем высшее образование, обеспечить карьерный рост во многих сферах профессиональной деятельности, да и просто психологическая некомфортность самой жизни в стране, где министр культуры на заседании правительства определяет русский язык “собачьей мовой”¹²; с другой стороны – “язык власти”, который наделен исключительными правами, а следовательно, и преференциями для тех русскоязычных граждан, которые готовы перейти на государственный язык во всех сферах общения.

И государство путем реализации своей языковой политики делает все, чтобы граждане сделали правильный выбор – “одна страна – один язык!” (слоган одной из политических партий).

В законодательном поле Украины использование языков регламентируют Конституция (1996 г.), Закон о языках (1989 г.), Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств, ратифицированная Верховным Советом в 2003 г., но вступившая в силу на Украине только 01.01.2006 г., и целый ряд смежных законов и указов, принятых преимущественно в 2005–2009 гг.

До 1991 г. (провозглашения независимости Украины) Закон о языках (1989 г.) обеспечивал сбалансированное функционирование русского и украинского языков во всех сферах жизни общества: обучение, массовая коммуникация, наука и производство, обслуживание, судопроизводство, административная, социально-политическая деятельность и т. д. Согласно указанному Закону русский язык здесь используется наряду с государственным – украинским.

Однако с 1992 г. началось все нарастающее вытеснение русского языка из всех перечисленных сфер жизнедеятельности украинского социума.

А с 2005 г. дерусификация достигла невиданных масштабов: перечень только законов, которыми фактически запрещено использование русского языка на Украине составляет почти 80 актов, не считая указов, распоряжений, постановлений, других документов Президента и органов правительства¹³.

За 19 лет независимости было закрыто свыше 3 тысяч школ с русским языком обучения (это более 60 % от их общей численности на 1992 г.), при этом количество учеников, языком обучения которых является русский, сократилось почти в 7 раз, из более чем 3 миллиона до 480 тысяч. По последним данным социологов, в 2010 г. на русском языке обучается 18 % школьников, на украинском – 82 % (в 1991 г. обучалось на русском 54 % и на украинском – 45 %). Для примера, в 1991 году в Киеве функционировало 135 школ с украинским языком обучения и 129 – с русским, с 2005 года и по сей день с украинским – 527, с русским – 6. (В Киеве проживает 2,5 миллиона человек, из которых 600 тысяч, т. е. 24 %, признали родным языком русский. Ср.: в Риге (Латвия) проживает 750 тысяч человек, а школ с русским языком обучения, по заявлениям латвийских правозащитников, – 64.).

Русский язык не является базовым (обязательным) компонентом типового учебного плана начальной и средней школы с украинским языком обучения. Только в Киеве русский язык не преподают даже факультативно более чем в 90 школах с украинским языком обучения, а ведь в них обучаются русскоязычные дети.

Более того, разрушается само понятие “школа с русским языком обучения”, поскольку с 2008 года ряд предметов в таких школах переведен на украинский язык преподавания, а учителей по математике, физике, химии, ботанике и всем остальным предметам для школ с русским языком обучения не готовят ни в одном педагогическом университете Украины.

Уже выросло поколение молодых людей, которые не владеют письменной формой родного (русского) языка. (Напомню, что согласно статье 27 Закона о языках изучение русского языка, как и украинского, во всех общеобразовательных школах является общеобязательным.)

Не менее печальная участь постигла русскую литературу, которая перестала существовать как самостоятельная учебная дисциплина, войдя скромной частью (18 % от общего числа часов) в состав зарубежной литературы, и русскоязычные дети изучают произведения всемирноизвестных классиков русской литературы в переводе (не всегда качественном!) на украинский язык.

Дошкольное воспитание практически полностью осуществляется на украинском языке.

Аналогичная ситуация и с высшими учебными заведениями, где обучение проводится как правило на украинском языке и полностью отсутствуют группы с русским языком преподавания, как того предписывает одна из статей Закона о языках. Таким образом, ученики, окончившие школы с

русским языком обучения, поставлены в неравные конкурентные условия для получения высшего образования в сравнении с теми, кто обучался в средних школах на государственном языке. Представители власти этого не скрывают. В средствах массовой информации, в общении местных чиновников с родителями постоянно звучит: “ваши дети не имеют будущего, если не получают среднее образование на государственном (украинском) языке”. Результаты такого массированного давления предугадать не сложно.

Дискриминационная государственная языковая политика по отношению к русскому языку (путем запрета его использования), проводимая в течение всех 19 лет существования независимого государства привела к резкому сокращению сфер функционирования русского языка и полному его вытеснению из официально-деловой, судебной, административной, социально-политической, научно-производственной сфер, сферы здравоохранения, частично – из массмедийной (радио и телевидение) и образования (всей его вертикали).

Принятие закона по европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств не способно изменить ситуацию, поскольку степень поддержки государством русского языка по этому закону та же, что и, например, словацкого (0,01 % носителей языка), гагаузского (0,1 %), немецкого (0,1 %), греческого (0,2 %), венгерского (0,3 %), польского (0,3 %), болгарского (0,4 %) и др.

И хотя Конституцией “гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины” (статья 10, часть 2) и “право обучения на родном языке либо изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях” (статья 53), все языковые права русскоязычных граждан остаются пустыми декларациями. Одновременно государство устами своих чиновников внушает гражданам, что родной язык – это язык родины (родина – Украина, значит, родной язык, соответственно, украинский), а двуязычие – “двуязыкая бездуховность”, “задавлена хвороба” [рус.: болезнь – Л. К.], “двуличие”, “двудушие” в то время как украинский язык – это язык “национально сознательных граждан”. В этих условиях все большее число граждан демонстрирует лояльное отношение к власти в вопросе языковых предпочтений, оставаясь при этом русскоязычными. Отсюда и фиксируемое социологами несовпадение в ответах украинцев на прямые, косвенные и скрытые вопросы относительно их языковой самоидентификации.

Сокращение доли русскоязычных украинцев происходит сегодня за счет двуязычных граждан под давлением социально-психологических факторов.

С приходом новой власти (февраль 2010 г.) каких-либо изменений в сфере языковой политики не наблюдается. Так что тенденция сужения пространства русского языка и русского мира в целом остается определяющей на Украине в обозримом будущем, что непосредственно связано и с витальностью русского языка в государстве.

Вместе с тем социологи обнаружили и положительную тенденцию. Согласно данным указанного мониторинга ИС НАНУ (2007 г.), если исключительно по-украински думают 34% граждан старше 55 лет, 30% в возрасте 30–35 лет, то среди тех, кто сформировался как языковая личность в годы независимости (возрастная группа до 30 лет), думают исключительно по-украински 22%. Среди тех, кто думает исключительно по-русски, наблюдается противоположную тенденцию: возрастная группа старше 55 лет – 30%, 30–35 лет – 36%, до 30 лет – 40%¹⁴, т. е. число русскоязычных молодых людей в возрасте до 30 лет не уменьшается, как можно было бы предположить, а растет, несмотря на государственную языковую политику дерусификации.

Как видим, вопросы языковой самоидентификации не так просты, как это представляется государственным чиновникам, ведь родной язык – это не просто средство коммуникации, а, как справедливо отмечает В. А. Филатов, “орудие и материал мышления, главное средство самовыражения, идентификации и развития личности... Весь интеллектуальный и духовный арсенал человека сформирован, закреплён и представлен на родном языке”¹⁵.

Да, языковая идентичность, как и любая другая идентичность, может меняться, на что обращают внимание исследователи¹⁶ и что подтверждают мои собственные наблюдения, но эта мена, на мой взгляд, не должна быть насильственной, как это происходит на Украине.

¹ Ратифицирована Законом Украины № 802-IV от 15.05.2003 г. ² *Язык и идентичность*. Сборник материалов Международной научно-теоретической конференции “Язык и идентичность”. Ахановские чтения, 12–13 мая. – Алматы, 2006.

³ Шульга Н. А. Родной язык: надуманный конструкт или реальность? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – № 1. – 2011. – С. 3. ⁴ *Русский язык в Украине* / Под ред. М. Б. Погребинского. – Харьков, 2010. ⁵ Это подтверждает мнение специалистов, согласно которому переписи в новых государствах имеют исключительно политическое значение, поскольку позволяют, как отмечает В. Тишков “реализовать конструирование облика новых наций и государств, подправить через переписные категории и манипуляции жесткую реальность” (В. Тишков. Переписи населения и конструирование

идентичностей. – http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/perepisi_n.html). ⁶ Данные мониторинга ИС представлены в работе: *Шульга Н. А.* Функціонування української і російської мов в Україні та її регіонах // Мовна ситуація в Україні між конфліктом і консенсусом. – НАН України, ІПЕД ім. І. Ф. Кураса. – К., 2008. – С. 49–74. ⁷ *Е. Головаха.* Двуязычие или двуязычие? // Известия, 20.12.2007. ⁸ *Н. А. Шульга.* Родной язык: надуманный конструкт или реальность? // Русский язык. Литература, культура в школе и вузе. – 2011. – №1. – С. 3–5. ⁹ *Сулейменова Э. Д., Шаймерденова Н. Ж., Смагулова Ж. С., Аканова Д. Х.* Словарь социолингвистических терминов. – Алматы, 2008. – С. 21–25. ¹⁰ *Словарь социолингвистических терминов* / Под редакцией д. ф. н. В. Ю. Михальченко. – М., 2006. – С. 187. ¹¹ *Ожегов С. М., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. – М., 1997. – С. 681. ¹² <http://obozrevatel.com/news/2008/8/27/255264.htm>. ¹³ Перечень 78 законов Украины, содержащих дискриминационные нормы относительно русского языка представлен в работе: *Алексеев В. Г.* Бегом от Европы? Кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. – Харьков, 2008. – С. 219–232. ¹⁴ *Шульга Н. А.* Функціонування української і російської мов ... – С. 56. ¹⁵ *В. А. Филатов.* Еще раз о родном языке // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. – №1. – С. 6. ¹⁶ *Сулейменова Э. Д.* Архетип “гадкого утенка” и языковая идентичность // Язык и идентичность. Сборник материалов Международной научно-теоретической конференции “Язык и идентичность”. Ахановские чтения, 12–13 мая. – Алматы, 2006. – С. 15–25.

РҮСНІСТИКА

Вып. 11

Київ – 2011

О. А. Михайлова (Екатеринбург)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Социально-экономические преобразования в современной России, развитие рынка труда, изменения в духовной сфере актуализировали глобальную проблему межкультурной коммуникации. Вместе с тем в российском обществе широко представлены различные субкультуры, далеко не всегда находящиеся в гармонии. Поэтому выявление факторов, определяющих сотрудничество и разобщение, поиск оптимальных путей коммуникативной гармонии одинаково значимы как для межкультурной коммуникации, так и для внутрикультурного общения. Языковая политика регионов должна строиться с ориентацией на мультикультурное пространство, и воспитание личностной культуры человека должно включать в качестве важнейшего компонента коммуникативную компетентность. Формирование гражданского общества, преодоление тоталитарных стереотипов и утверждение прав личности в государственной практике России сегодня невозможно без формирования устойчиво толерантного массового сознания. В связи с этим возникает необходимость не только изучения феномена толерантности, но и исследования форм проявления толерантных установок в коммуникативном поведении отдельной личности и социально-культурной группы. Коммуникативная успешность современного диалога культур в значительной степени определяется тем, в какой мере будут реализованы ресурсы толерантности.

Толерантность – универсальная многоаспектная категория, обладающая ментальной ценностью, регулирующая межличностные, внутрикультурные, межкультурные отношения, формирующая речевую коммуникацию, влияющая на ее механизмы и результаты. Комплексный характер толерантности позволяет рассматривать ее как когнитивную категорию ¹, как социолингвистическую категорию ², как категорию прагматики ³ и, безусловно, как категорию коммуникативную ⁴.

В теории речевой коммуникации нет однозначного понимания коммуникативно-прагматической категории. Этим термином обозначают самые общие коммуникативные понятия, в частности единицу коммуникативного сознания народа, а также “концепт высокого уровня абстракции, определяющий тот или иной аспект коммуникативного поведения народа” ⁵. Бесспорно, что коммуникативно-прагматические категории выполняют регулятивную функцию, обладают национальной спецификой, имеют нежесткую структуру и достаточно размытое содержание. Назначение коммуникативных категорий – упорядочение в сознании сведений о нормах и правилах общения и обеспечение речевого общения индивида в обществе по принятым в данном обществе правилам.

Коммуникативный аспект толерантности представляется нам важнейшей из ее сторон, объективирующей когнитивную, прагматическую и этическую составляющие этой универсальной категории.

Когнитивной базой коммуникативной категории толерантности выступают, во-первых, категория чуждости, общее содержание которой, как известно, сводится к оппозиции *свой / чужой*, и, во-вторых, сопровождающая ее категория идентичности, т. е. субъективное переживание человеком своей индивидуальности. Идентификация себя в социальном пространстве обнаруживается и проявля-

ется в процессе речевой коммуникации. Коммуникант очерчивает “свой круг”, отграничивая себя от другого по какому-либо идентификационному фактору – возрасту, этнической, социальной или гендерной принадлежности, профессии и др.

Например, в следующем диалоге мужчины и женщины основанием идентичности становится гендерный фактор – коммуникант четко противопоставляет себя противоположному полу:

Ж.: *Ирландцы и русские действительно похожи/ смотрите/ даже домашняя утварь как будто вовсе не ирландская а русская/ вон корытце и сечка//*

М.: *Это называется сечка? А что такое тяпка?*

Ж.: *А тяпка/ простите/ (смеется) это на земле то что/ чем землю окучивают/ мотыга//*

М.: *Да? Я не слышал такого слова// Вот у нас такая гендерная самоидентичность/ (с иронией) мужчина не должен знать таких слов/ по хозяйству/ это женское/ чужое/ я от этого отчуждаюсь//*

Объективно существующее противопоставление *свой / чужой* как мужской и женский дополняется субъективно созданным противопоставлением: те, кто занимается домашним хозяйством, – чужие для говорящего. В диалоге мужчина, хотя и с иронией, эксплицирует самоидентичность, но подобная рефлексия свойственна лишь образованной части общества. Обычно идентификация осуществляется с помощью местоименных оппозиций: *у нас, мы, наше – вы, ваше / они, их*.

Важное место в идентификационной матрице личности занимает возрастная (поколенческая) идентичность. Люди старшего поколения обычно противопоставляют себя молодежи, как, например, в диалоге двух немолодых женщин:

А. (пенсионерка, 65 лет) – *Да/ дружные люди были//... парни в праздник пьяные не были// с гармонистом пойдём/ девок девять/ пятнадцать//... парни и с той и с этой улицы/ и никто не пьяный// девки и парни вместе за руки возьмёмся и танцуем//*

Б. (рабочая, 52 года) – *Сейчас молодёжь не может время проводить//* (Живая речь уральского города) ⁶.

Осознание своего круга и отграничение себя от “чужого” часто становятся причиной коммуникативного напряжения, которое требует своего разрешения. Таким образом, именно идентичность как дистанцирование от других, особенно так называемая полемическая идентичность ⁷, когда личность агрессивно реагирует на других, выступает когнитивным основанием коммуникативной категории толерантности и становится условием ее действия.

Поскольку толерантность призвана регулировать процесс общения, поведение субъектов, в том числе речевую деятельность участников коммуникации, необходимо, чтобы субъекты, имеющие разногласия, вступили в диалог. Отказ от диалога, уход от общения одного из потенциальных коммуникантов воспринимаются другим как нарушение общественной нормы. Приведу для подтверждения письмо в газету “Известия” М. В. Розановой-Синявской: *Больше, чем с единомышленником (с ним же все понятно!), я люблю разговаривать с человеком, который думает не так, как я. Мне интересно. Вдруг я засомневаюсь и посмотрю на мир другим глазом? С другой стороны? Или какие-то метаморфозы коснутся легкими крылами собеседника – и он, мой противник, станет чуть-чуть ближе или хотя бы понятнее*. И далее писательница рассказывает о поведении своих идеологических противников – “заядлых патриотов” Владимира Бондаренко и Игоря Шафаревича: *Всякий раз, приезжая в Москву, я встречаюсь с Бондаренко, и мы бросаемся друг другу в объятья, а потом долго спорим и редко соглашаемся. А вот другой патриот – Игорь Шафаревич – с нами даже поговорить отказался, сказав что-то исконно-посконное вроде того, что на одном поле не сядет. Я подивилась такой крайней форме соборности и огорчилась чрезвычайно*. Отказ И. Шафаревича от диалога есть, безусловно, проявление интолерантности.

Однако можно избегать вступления в диалог и с другой целью – не участвовать в конфликте. Такое поведение американские исследователи называют кажущейся толерантностью. В какой-то степени это тоже миротворческий процесс, но в таком случае накапливается потенциал конфликта, что может привести к нежелательным результатам: стрессу или, напротив, взрыву конфликта. Подобное поведение, как отмечают исследователи, свойственно русскому народу. Н. А. Бердяев писал, что русский человек стремится до последнего уклониться от назревшего конфликта, а когда уклонение невозможно, без оглядки бросается в конфликт, не считаясь ни с чем. Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей ⁸.

Таким образом, когда нет диалога, взаимодействия, нет оснований говорить о толерантности / интолерантности. Если же субъект решил вступить в диалог, то начинает действовать важный для определения толерантности прагматический фактор – мотивация.

Мотивация лежит в основе всех действий субъекта в процессе коммуникации и обуславливает выбор субъектом стратегий и тактик его поведения, в том числе и речевого. Решение не примиряться с конфликтом, вступив в диалог, может быть основано на одном из двух мотивов, и в соответствии с ним будут выбраны тактики поведения. Первый мотив – стремление коммуниканта разрешить конфликт путем утверждения своих позиций, нередко с проявлением агрессии, использованием силы, т. е. субъект избирает тактики, приводящие к дисгармонизирующему коммуникативному результату. В диалогическом взаимодействии, основанном на такой мотивации, игнорируется категория толерантности.

Второй мотив, определяющий коммуникативное поведение, – признание равноправия сторон в диалоге, отрицание насилия и агрессии как способов разрешения конфликта, т. е. субъект выбирает стратегии и тактики, приводящие к гармонизирующему коммуникативному результату. Именно в таком диалоге реализуется коммуникативно-прагматическая категория толерантности.

Таким образом, толерантность выполняет регулирующую функцию и является конституирующим признаком успешного диалога. Создание гармоничного “коммуникативного пространства” – это ориентация коммуникантов на диалогическое общение в широком смысле слова⁹, т. е. диалог должен рассматриваться не только как форма речи, но и как любое социально значимое взаимодействие. Такая трактовка диалога приобрела большую популярность, и само слово становится центральной метафорой в современном обществе, ср.: диалог культур, диалог межэтнический и пр. Именно для такого социального диалога коммуникативно-прагматическая категория толерантности является едва ли не самым значимым признаком. Социальное взаимодействие является одним из основных, необходимых условий жизни человека. Способность позитивного отношения конкретной личности ко всякой другой личности – это великое общественное достижение, но его нельзя получить естественным путем. При социальном взаимодействии для субъекта “чужими” являются те, кто не разделяет его убеждений, кто признает иную истину. В социальный диалог вступают носители разных взглядов.

Моделирование подобного диалога мы наблюдаем в телевизионных ток-шоу, в публичных дискуссиях, при обсуждении социально значимых вопросов в периодических массовых изданиях. Такие полемические дискурсы создают эффект толерантности, поскольку предоставляют возможность диалога, обеспечивают вовлечение в коммуникативный процесс различных участников путем формирования пространства для высказывания. Однако средства массовой информации, создавая эффект толерантности, сами достаточно часто нарушают нормы (особенно при описании межэтнического взаимодействия) и не способствуют формированию толерантных установок в общественном сознании. В Институте этнологии и антропологии РАН были проведены этносоциологические исследования прессы, в которых, в частности, анализировалась лексика, используемая журналистами для освещения этнических процессов в современной России. Выводы по этому параметру оказались крайне неутешительными: интолерантных высказываний такого типа, как: *Чужие не имеют права жить здесь; Просто назойливые лица цыганской национальности; Будут проверять все лица не только кавказской, но и азиатской национальности* – оказалось значительно больше, чем нейтральных номинаций.

Письма читателей в газеты дают возможность проанализировать установки толерантного сознания в нашем обществе. Например, обсуждение в газете “Аргументы и факты” проблемы – как ужиться в многонациональной Москве – выявило полярные позиции граждан. Некоторые предложения по решению данного вопроса являются агрессивными, проповедующими ксенофобию: *кавказцев нужно точно высылать из Москвы*. Наиболее типична позиция, выраженная в следующем письме, и здесь отчетливо проявляется особенность толерантного сознания наших соотечественников. Письмо начинается словами: *Россия проповедует политику национальной терпимости. Я это приветствую, поскольку это признак гуманизма* (ср. подобное суждение в другом письме: *Должны ли быть ограничения по национальному признаку? Нет!*). Общий постулат терпимого отношения к лицам другой национальности принимается автором письма, и он, следовательно, выступает как толерантная личность. Читаем далее в этом же письме: *Но ... очевидная опасность для коренного населения в том, что кавказцы, устранившись в конторы, как кукушата, вытесняют оттуда не своих. Например, в стоматологической поликлинике, что около моего дома, с 1999 г. почти все врачи кавказцы, а до того не было ни одного*. И завершаются подобные рассуждения таким пассажем: *Путь решения проблемы без крови я вижу только один – ввести негласное ограничение на прием на работу лиц кавказской национальности*.

Как видим, если затронуты личные интересы, субъект обнаруживает совсем другое отношение к чужим. То есть наиболее типична для наших сограждан двойственность позиции по отношению к инонациональным субъектам: абстрактно я принимаю идею равных прав для всех, а конкретно, если это касается моего пространства, отвергаю ее. Особенности российской толерантности могут быть

описаны сочетанием таких противоречивых черт, как широкая этническая терпимость в соединении с резким отторжением живущих рядом представителей не своей нации. Таким образом, следует признать, что в социальном взаимодействии у большинства россиян существует строго определенная граница толерантности.

Осуществление идеи толерантности связано с нравственными ценностями, с культурой личности и общества в целом. Толерантность предполагает способность к компромиссам, нахождению приемлемых решений для противоположных позиций, взглядов. Толерантность несет в себе нравственное содержание и, таким образом, становится регулятором социокультурных отношений.

Не менее важна категория толерантности для межличностного общения. В повседневном дискурсе коммуникативно-прагматическая категория толерантности “объединяет совокупность более частных концептов и категорий – таких как *вежливость, сохранение лица собеседника...*” (курсив автора – О. М.)¹⁰. Связь категорий толерантности и вежливости отмечают многие лингвисты. Так, Н. И. Формановская пишет: “Толерантность и вежливость – как бы две стороны одной медали: «в общении не делай плохого другому, делай ему хорошее»”¹¹.

Суть вежливости в презумпции уважения, она оберегает человека от насилия над другим, дает время настроиться соответствующим образом, адекватно отозваться, дешифровав поступающую информацию. На этой основе формируется прескрипционная составляющая коммуникативно-прагматической категории толерантности, включающая обусловленные когнитивной базой общие, максимально обобщенные предписания, определяющие характер коммуникативного поведения¹².

Основными прескрипциями коммуникативно-прагматической категории толерантности, как нам кажется, можно считать:

- необходимость разумно вести себя, не прибегая к насилию в конфликтных ситуациях и не создавая такого рода ситуаций;
- необходимость признать, что другая сторона обладает принципиально теми же правами;
- быть согласным / готовым воспринять (но не значит – принять!) ценности (духовные, нравственно-идейные, этико-эстетические, религиозные) даже в том случае, если они противоречат собственным мировоззренческим установкам;
- соблюдать коммуникативные нормы; быть вежливым, т. е. проявлять уважение к партнеру по коммуникации, что выражается в доброжелательном отношении к нему и уместном обращении, соответствующем его личностным и статусным позициям.

Культурные практики толерантности предписывают коммуникантам не наносить своей речью и своим поведением ущерба другому, а напротив, всячески его поддерживать и создавать тем самым благоприятный климат общения; лишь установка на доброжелательность способна создать атмосферу комфорта и возможности устранения разногласий и разрешения конфликта.

¹ Стернин И. А. Проблемы формирования категории толерантности в русском коммуникативном сознании // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. – Екатеринбург, 2004. ² Крысин Л. П. Толерантность как социолингвистическая категория // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. – Екатеринбург, 2004. ³ Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: зоны толерантного и нетолерантного общения // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003; Гольдин В. Е. Толерантность как принцип культуры речи // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003; Купина Н. А. О прагмоидеологической составляющей толерантной / интолерантной коммуникации // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. – Екатеринбург, 2004. ⁴ Михайлова О. А. Толерантность как коммуникативная категория // Коммуникация и толерантность: теоретические и прикладные аспекты. – Екатеринбург, 2003; Стернин И. А. Толерантность и коммуникация // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003; Стернин И. А., Шилихина К. М. Коммуникативные аспекты толерантности. – Воронеж, 2001. ⁵ Стернин И. А. Проблемы формирования категории толерантности в русском коммуникативном сознании // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. – Екатеринбург, 2004. – С. 131. ⁶ Живая речь уральского города: Тексты. Екатеринбург, 1995. – С. 25. ⁷ Рябов О. В. “Матушка-Русь”: Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. – М., 2001. – С. 31. ⁸ Бердяев Н. А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре: Философия русского постоктябрьского зарубежья. – М., 1990. ⁹ Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996. С. 297. ¹⁰ Стернин И. А. Толерантность и коммуникация // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003. – С. 338. ¹¹ Формановская Н. И. Ритуалы вежливости и толерантность // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003. – С. 360. См. также: Земская Е. А. Категория вежливости в аспекте речевых действий // Логический анализ языка. Язык речевых действий. – М., 1994; Ермакова О. П. Толерантность и проблемы коммуникации // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. – Екатеринбург, 2004. ¹² Стернин И. А. Проблемы формирования категории толерантности в русском коммуникативном сознании // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. – Екатеринбург, 2004.

Н. А. Купина (Екатеринбург)

СОВЕТИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Русский язык советской эпохи находился под жестким контролем партийно-государственной языковой политики, способствующей полной или частичной политизации книжных сфер литературного языка (философской, публицистической, правовой, научно-гуманитарной, эстетической). Закономерный результат процесса политизации языка – формирование системы идеологем. Цельность, упорядоченность, нормативность, простота, открытый доступ к вербально оформленным идеям всех книжных сфер речи в соединении с функцией предписания и контролем за употреблением лексики и фразеологии обеспечивали идеологическую гармонию, предполагавшую однонаправленную смысловую интерпретацию ключевых единиц вербального идеологического кода в границах официальных догм. Общественное идеологическое сознание в этот период отличалось определенностью, однолинейностью, представляло собой наивный аналог государственной идеологии.

Ослабление языковой политики в эпоху перестройки (середина 80-х гг.), сопровождавшееся сдвигами в системе ценностей, осмыслением новых реалий и идей, в том числе декларируемых западными демократиями, отказ от тоталитарных догм – все это обусловило продолжившийся в 90-е годы процесс деидеологизации русского языка, его освобождение от идеологических примитивов¹. Целостность, характеризующая тоталитарную языковую культуру, уступила место идеологической неупорядоченности.

Новая Россия не стала наследницей советской идеологической доктрины, но и не предложила свою систему идей, понятных для народа, маркирующих направление развития страны. На фоне нежестко структурированной языковой политики перестраивается общественное сознание, приметами которого становятся идеологическая растерянность, идеологический цинизм, идеологический скептицизм. В начале XXI столетия заметен дефицит новейших мобилизующих идей. Внедрение в активный речевой оборот новоидеологем (*вертикаль власти, открытое общество, многополярный мир, управляемая демократия, эффективное государство, ось добра, дуга стабильности, перезагрузка* и др.) наталкивается на идеологическую пассивность и настороженность общественного сознания. Происходит переосмысление общекультурного и литературного языкового советского наследия². Лингвистически актуальной становится задача типологического описания советизмов в русском языке новейшего времени.

С позиций современного языкового сознания советизмы можно определить как единицы, семантика которых связана с “социалистической организацией власти Советов и общества диктатуры пролетариата”³, а также с сопротивлением официальному языку, идеологии, государственным экономическим, социальным, культурным практикам. Целесообразно разграничить узкое и широкое понимание термина “советизм”.

В первом случае речь идет о политической лексике и фразеологии, имеющей, как правило, тенденциозно-идеологическое смысловое наполнение (*по-ленински, подкованный, перегибщик, генеральная линия партии, морально-политическое единство, махрово-реакционный*; ср.: *бровеносец, принудилровка, контора* – ‘о КГБ’). Во втором случае советизм трактуется как слово (сочетание слов, клишированное выражение), обладающее значением, компонентный состав которого отражает специфику участка советской картины мира, содержит наведенные идеологической и/или социокультурной средой культурные ограничители и коннотативные приращения (*подселение, уплотнить, стилиага, вещепоклонство, шабашить, из-под полы, талоны на...* (туалетную бумагу), *нормы социалистического общежития*).

Длительное блокирование вербального советского идеологического кода объясняет тенденцию перехода советизмов в разряд агнонимов⁴. В пассивный запас языка перемещаются отдельные пласты “фундаментального лексикона”⁵. Достаточно просмотреть несколько страниц “Толкового словаря Совдепии”, чтобы в этом убедиться. Например, из 19 слов, зафиксированных на двух страницах словаря, из активного употребления вышли десять: *политсектор, политсеть, политсостав, политссылный, политтройка, политчас, полквоенкор, Полтинник, помгол, помдеж*. Отдельные слова стали новоисторизмами с неузнаваемым обозначаемым: *Полтинник* разг. – клуб, кинотеатр или другое учреждение имени 50-летия Октябрьской революции, ВЛКСМ и др.⁶

В картине мира молодых россиян образуются лакуны, объясняемые не только отсутствием непосредственного советского опыта, но и изменениями в системе текстов влияния. Так, например, результаты эксперимента, направленного на выявление понимания значений слов-советизмов студентами первых курсов Уральского государственного университета (г. Екатеринбург), обнаруживают наличие в лексиконе молодых людей агнонимических зон. Типовой ответ на вопрос “Что значит это слово?” (для толкования предлагались лексемы-советизмы) – “Не знаю”. В числе немногочисленных полученных реакций на отдельные слова-стимулы следующие: *нацмен* – ‘национальный менталитет’, ‘националист’; *сексот* – ‘секретарь во времена СССР’; *самиздат* – ‘самостоятельное издательство, существующее на деньги автора’; *невозвращенец* – ‘ушел и не вернулся’. Прослеживается вызванное отсутствием культурно-фоновых знаний стремление информантов расшифровать лексическое значение на базе произвольно вычленяемых значимых частей слова.

Процесс устаревания советизмов в значительной степени объясняет сложившуюся в современной языковой ситуации оппозицию кода и текста. М. В. Панов писал: “Если говорящий и слушатель понимают друг друга, то это означает, что у них в памяти существует общий код (набор знаков) и они по общим для них законам сочетают их, создавая текст”⁷. Язык советского времени перестал быть общим языком россиян. В понимании речевых произведений и отдельных высказываний, содержащих вербальные знаки, бренды, символы эпохи социализма, наблюдается поколенческое различие: языковой код носителей русского языка, прошедших социализацию в СССР, и носителей русского языка, прошедших социализацию в постсоветское время, не совпадает. Филологи пишут о необходимости специального комментирования советского лексикона в текстах русской литературы XX века⁸. Наши наблюдения показывают, что подобное комментирование необходимо и в современных текстах о советской действительности. Не случайно метаязыковые комментарии регулярно сопровождают употребление советизмов и в повседневной устной, и в книжно-письменной речи. Например: *Были раньше товары в нагрузку: берешь, например, мандарины, а к ним обязательно должен купить 2 кило ячневой крупы. Ср.: Свобода <...> развязала споры о базисе, а не о надстройке. Эти пресловутые марксистские понятия не так глупы, если понимать под “базисом” не социальные отношения, а те самые изначальные данности: пол, возраст, нацию, место рождения, происхождение* (Д. Быков, Известия).

Поколенческий разрыв объема культурной и языковой памяти наших современников ослабляет остроту эмоциональных оценок советского мира. Неодобрительное отношение к советскому (*Таков совдеповский менталитет: в случае неудачи смешивать с грязью – футболист А. Оршавин*) вытесняется стремлением к аксиологической толерантности (*Советское – значит различное – газетный заголовок*). Критика советского все чаще признается несвоевременной (*Хватит ругать советскую систему – это уже немодно – писатель Ю. Поляков*). В текстах СМИ наблюдается мифологизация опорных идеологических конструктов. Например, в приуроченной к празднику Победы статье Дмитрия Быкова “Элитный отряд” (газета “Труд”) *советский народ* характеризуется как *способный на мгновенную самоорганизацию, действовавший в период военных действий решительно, стремительно, самоотверженно, обнаруживший мобилизационную готовность, тайную способность немедленно совершить чудо при действительно серьезной опасности, способность встать выше любых разделений для спасения человечества*. Привычными становятся высказывания и тексты, охваченные модальностью ностальгии. Объекты ностальгии – *советская держава, империя* и отдельные ценностные участки советского мира. Например: *Постыдное человеческое свойство: о ценности многих явлений и законов мы догадываемся лишь в тот момент, когда их утрачиваем. Так было в 20-е годы, когда стихийные бунтари начали потихоньку вздыхать о нравах и обычаях “мирного времени”, так и теперь, когда бывшие кухонные диссиденты, слушатели “вражеских голосов” и обличители советского агитпропа вдруг с неожиданной для себя теплотой, а то и с удивлением припоминают некоторые реалии минувшего бытия. И собственного, и общественного* (А. Макаров, Известия). Стремление проанализировать обретения ушедшей цивилизации сопровождается оживлением советского лексикона.

В речевой оборот (иллюстративный материал отражает языковую действительность 2009–2010 гг.) возвращаются советизмы в прямых идеологически первичных значениях. Такие употребления естественно связаны с экскурсом в прошлое: *Не знаю, хорошая это новость или плохая – но коммунизма не будет <...> Лакеи рады – хозяин* (о Сталине) *сдох. Проблема только в том, что, кроме лакеев, в доме никого нет. Триста миллионов лакеев теперь на свободе. Эти ребята из ЦК, которые все еще с важным видом заседают в царских палатах, уже знают – власти у них нет* (Н. Дубовицкий, Около поля); *Были великие стройки, пятилетки за три года, было “догнать и перегнать”, было “каждой семье – по отдельной квартире”*. *Побывали мы и в “авангарде передового человечества”, и на ускоренной стройке коммунизма* (В. Костиков, Аргументы и факты).

В высказываниях, содержащих советизмы, встречаем темпоральные указатели, метаязыковые и идеологические комментарии: *По рассказам старожилов в 1922–24 годах прошлого столетия крестьян в приказном порядке **выслали**. Вокруг села появились **выселки** – деревни в 10–15 дворов* (районная газета “Осинское Прикамье”). Ср.: *“**Шестидесятничество**” – термин не бесспорный <...> но укоренившийся в общественном сознании в тесной связи с политической хронологией – **хрущевской “оттепелью”**. Не сразу, много лет спустя, стало понятно, что “**шестидесятники**” по своим воззрениям были далеко не однородны. Объединяло их, пожалуй, только общее неуютное чувство несвободы, из-за которого одни испытывали всего лишь неловкость за “**отход от ленинских норм**” и, как следствие, за “**социализм с нечеловеческим лицом**”, а другие – желание и готовность к бунту (в большей мере личному, чем общественному) ради обретения свободы* (В. Дымарский, Российская газета).

В книгах-альбомах Леонида Парфенова “Намедни. Наша Эра” введение советизмов в речевую ткань текста связано с событием, фактом оживляемого прошлого. Например: 1971. XXIV съезд КПСС официально утверждает построение в СССР ***развитого социализма*** (см. 1967). Начинается десятилетие, которое назовут *“**брежневским золотым**” и эпохой **застоя***⁹. Специально выделяется автором момент вхождения в культуру идеологически насыщенного прецедентного текста: *Песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитоновна “**День Победы**” советские ветераны Второй мировой войны навсегда выбирают своим гимном*¹⁰.

Первичные значения советизмов актуализируются не только при описании и интерпретации советской действительности, но и при характеристике текущей политической жизни. Например: *Эдуард Россель с честью отбил атаки **ревизионистов** и **отщепенцев*** (новости областного телевидения, Екатеринбург); *В политической элите замечен **раскол** и **разброд*** (радио “Эхо Москвы”). Советизмы употребляются для обозначения определенных политических настроений: *Мы наблюдаем **подъем классового сознания** трудящихся* (Г. Зюганов); *Россия сегодня нуждается в возобновлении **диссидентского** движения* (В. Новодворская).

Первичные идеологические значения отмечены в многочисленных высказываниях, свидетельствующих о калькировании советских идеологических практик в разных сферах современной жизни: *Дмитрий Медведев присвоил Пскову, Козельску и Архангельску звание **городов воинской славы**; МВД предлагает ввести в свои ряды должность **политработника-воспитателя**; В школах вводятся дополнительные уроки физкультуры для сдачи **нормативов ГТО**. Это решение приняло правительство Свердловской области*. Ср.: *Считаю необходимым стимулировать работодателей всеми возможными способами, в том числе **добровольно-принудительными*** (Д. Медведев).

Ощущается активизация одноструктурных слов-ярлыков: *компанейщина, евсюковщина, шевченковщина, михалковщина, бекмамбетовщина, басковщина*. Например: *“**Басковщина**” – это когда человек от высокого жанра опустился к низкому, когда он на все готов, чтобы привлечь к себе повышенное внимание* (Аргументы и факты).

Оживление советизмов, входящих в одну тематическую сферу, происходит под влиянием фактора событийности. Иллюстрацией этого тезиса служит статья “Рецепты от **застоя**” (Областная газета, Екатеринбург), освещающая проведение конференции Свердловского регионального отделения партии “Единая Россия” (ЕР). В тексте наблюдаем блоковую реализацию вербальных знаков советского идеологического кода и характерологических примет советской стилистики: *252 делегата ... местных отделений правящей партии ... обсудили отчет своих **руководящих региональных органов** о работе **областной партийной организации**; Виктор Шептий **рассказал в отчетном докладе о достижениях партийной организации**; Свердловские **избиратели** в очередной раз **выразили доверие** единороссам; Реальные дела – лучшая **пропаганда и агитация**; **Работе на благо народа** способствует и деятельность общественной приемной председателя партии “Единая Россия” Владимира Путина в Екатеринбурге; В регулярном обновлении кадров партия справедливо видит **рецепт от застоя и загнивания**; В составе **Свердловского регионального отделения партии 79 местных отделений и 2213 первичек**.*

Как видно из примеров, в текстах актуализируются не только прямые, но и метафорические значения советизмов. В газетах активно используются включенные в контекст ситуации формульные метафоры: *Став членом ЕР, губернатор четко придерживался **линии партии**; На Урале ковалось **оружие** всех российских **воинских побед**; **Фламану** отечественного **сельхозмашиностроения** (о Ростсельмаше) исполняется 80 лет; Сергей Миронов осмотрел **кузницу** спортивных **кадров**; “Эрмитаж” **несет культуру в массы**; Юлия Тимошенко не **оранжевая принцесса** <...> Она **красный директор***. Заимствованной из украинского политического языка метафоре *оранжевая принцесса* противопоставляется выполняющая функцию контридеологемы метафора-советизм *красный директор*. Антитеза служит средством создания политического портрета Ю. Тимошенко.

В семантике советизмов обнаруживаются сдвиги, обусловленные влиянием социокультурного контекста современности: *На Кубани власти принялись душить “кулаков”* (о фермерах), *которых сами вырастили*; *Гражданам предложено посещать финансовый ликбез*; *Уплотняют Лермонтова: кто защитит музейные усадьбы от рейдеров?*; *В соответствии с поправками представительство общественных объединений в органах местного самоуправления гарантировано*. Квота для *“общественников”* – не более 15 процентов от общего списка кандидатов партии; *Невыездные должники: государство имеет право не выпустить вас за границу*; *Три литра в одни руки: таможня меняет правила провоза багажа через границу* (выборка из “Российской газеты” и газеты “Известия”).

Идеологическая семантика советизмов ярко проявляется при конструировании аналогий между советским и российским; советским и западным, а также советским и грузинским / белорусским и др. Возникают семантические приращения, воспринимаемые в контексте ситуации и с учетом точки зрения автора: *Певцы несостоявшейся “оттепели” теперь призывают на нашу голову “перестройку”* (В. Иванов); *Я бы не хотел, чтобы нас начали воспринимать как руководителей политбюро* (Д. Медведев); *Одна из главных позиций президента Медведева – модернизация экономики, повышение производительности труда. Стахановское движение – ровно об этом же. Однако одни уверены, что Стаханов заслуживает памятника, другие – что рекорды его бессмысленные, подозрительные и показушные* (А. Венедиктов); *Создается впечатление, что сверху поставлена ширма. Как раньше, помните: “Не надо нагнетать”* (И. Петровская); *Есть ли связь между 5 миллиардами Батуриной и мэрской должностью Лужкова? Все скажут, что есть. И это называется простым советским словом “семейственность”. Сегодня – это вид коррупции* (А. Троицкий). Ср.: *Обама решил раскулачить миллионеров, повысив налоги с их прибылей. Он готов поддержать законопроект, предложенный товарищами по партии в конгрессе* (Известия). Идеологически нагруженные сочетания нередко тиражируются, например, при конструировании аналогии между советским и грузинским: *Очередной жертвой саакашвилиевского агитпропа стала Нани Брегдадзе, которую объявили “врагом грузинского народа”*; *Тамара Гвердцители вошла в список “врагов грузинского народа”*; *Тина Канделаки и Сосо Павлиашвили включены в список российских агентов и “врагов грузинского народа”*; *Дал концерт в России – стал “врагом грузинского народа”* (выборка из газеты “Известия”). Широко распространены сочетания типа *белорусский социализм, вашингтонский обком, брюссельское политбюро*. Все это свидетельствует о востребованности газетных штампов советского образца.

Коннотативный потенциал советизмов реанимируется в высказываниях о “происках” внешнего врага: *Стоило человеку (о майоре Дымовском) предъявить конкретные обвинения, мгновенно пошли сообщения, что он куплен иностранным капиталом*; *Акцию протеста во Владивостоке инспирировали заокеанские вредители, стремящиеся к тому, чтобы Япония сбывала нам автохлам* (из выступления на митинге представителя ЕР). Образ внешнего врага в традициях советской стилистики передается с помощью эвфемистических формул-намеков: *В беседе с Ворониным прозвучало такое высказывание по поводу организаторов апрельских событий: “Наверняка есть и другие силы, которые участвовали в подготовке этой акции”*. *Молдавский лидер сказал это с изрядной долей обиды в голосе – обиды в первую очередь на некие неназванные силы в Евросоюзе, которые никак не хотят поставить на место “зарвавшегося” румынского президента Бэеску* (Российская газета).

В региональной печати употребляются информационные стандарты, а также эмоционально-экспрессивные и оценочные средства, характеризующие советскую стилистическую манеру¹¹. Например, в газетах Среднего Урала и Зауралья регулярно используются сочетания со словами группы “труд”. Обращают на себя внимание стандартные атрибутивные сопроводители к базовой номинации **труд** (*честный, бескорыстный, самоотверженный, благородный, ударный*), клишированные сочетания *трудовой коллектив, трудовые традиции, трудовые навыки, трудовой подвиг, трудовые достижения, трудящиеся района, трудящиеся Урала*. Все эти средства не только выделяют тему труда как фундаментальную, но и обуславливают ее развитие в границах советской идеологической ортологии, которая, в частности, вырабатывала нормы жизненного поведения, формировавшие активную жизненную позицию передового человека. Соответствующие этим нормам вербальные указатели наполняют штампованными характеристиками сферу персонажа¹². Например, в очерке “Мастера своего дела” газета “Сельская новь” (02.02.10.) поздравляет с юбилеем *передовика сельского хозяйства*: *Довольны мы работой Рафика Нагимовича: исправно все делает. Как человек ответственный, добросовестный. На рабочем месте всегда вовремя, чтобы распорядок дня не нарушался. В минувшем году тракторист колхоза имени Ильича Сулейманов Р. Н. был назван в числе лучших тружеников Березовского района и награжден почетной грамотой управления сельского хозяйства <...> От имени коллег по работе хочется поздравить знатного тракториста и пожелать этому трудолюбивому человеку крепкого здоровья, счастья и благополучия*. Районная газета, стремящаяся

сохранить своих читателей, находящихся в плену советских речекультурных стереотипов, поддерживает с помощью штампов иллюзию непротекшего прошедшего времени.

Языковой консерватизм районной прессы отличается от идеологической раскованности изданий демократической направленности, стремящихся продемонстрировать неприятие советских стилистических штампов. Отчуждение автора от тенденциозной оценочности и соответствующих идеологических добавок нередко маркируется кавычками, перемещающими советизм в зону несобственно авторской и чужой речи: *Причудливый коктейль из **соцреалистических** сюжетов и “буржуазного формализма” представлен на выставке “Ленинградская станковая литография. Довоенный период”, открывшейся в Москве (Д. Смолев, “Известия”). Ср.: Потомки “**врагов народа**” раскрутили генеалогический туризм. В старинном городе Елец генеалогический бум. Сюда со всего света едут потомки местных купцов – когда-то очень известных и богатых. Отпрыск богатейших из них – Владимир Заусайлов – собирает всех вместе, чтобы вернуть душу городу, скинувшему “**красный пояс**” (Российская газета). Активизация трафаретов советского образца вызывает сопротивление. Например: **О, эти штампы – не от них ли мы снова влезли под ярмо**, надеясь, что, пока мы дрыхли, тут все устроится само? Ан нет, товарищ: много чести. Мы, истомившись в немоте, стоим на том же самом месте – да только мы уже не те (Д. Быков, Новая газета).*

Полифункциональностью в газетных текстах характеризуются прецедентные вербальные знаки советской эпохи. Их использование в готовом виде, например, в составе заголовочных комплексов, усиливает воздейственность идеологических коннотаций: *Широка страна моя родная; Куба – любовь моя; Мир, труд, май!; Мы мирные люди; Молоткастый серпастый; В воздухе пахнет грозой; Кипит наш разум возмущенный; Лучшие меньше, да лучше; В эту ночь решили самураи; Нас вырастил Сталин. Прием трансформации прецедентного высказывания акцентирует ценностные различия на оси времени, способствует возникновению контекстуальной идеологической оценочности: *Броня крепка, а деньги наши быстры; Нет, нужен нам берег турецкий; Мы не торопим время. Мы не изменяем пространство. Мы просто отражаем реальность. Газета “Коммерсант”. Капиталистический реализм; Аморальный кодекс строителей капитализма; И модернизация всей страны; Сегодня он качает газ, а завтра Родину продаст?; Что доставать из широких штанин?; Жизнь стала лучше. На 2%; Рубль – это доллар сегодня.**

Осколки прецедентных текстов составляют основу новых русских анекдотов, построенных на ценностных сопоставлениях и противопоставлениях. Например: *Кризис. Обедневший без работы пролетариат кое-как сводит концы с концами, сдавая свои цепи в пункт приемки металлолома. Продать от безысходности свое главное оружие – булыжники – даже по демпинговым ценам не удается – рынок забит камнями.*

Наметилось некоторое ослабление тенденции к ироническому использованию советизмов, связанное как с характером современной политической ситуации, так и с проблемой понимания. Последняя снимается имеющимися в тексте разворотами культурно-фоновой информации, естественными при воспроизведении современным автором фактов советской действительности. Например: *1971. В юбилейном для **генсека** году советская пропаганда формирует его культ личности – довольно комичный, уязвимый для насмешек и анекдотов <...> Прежние ритуальные благодарности за все на свете “**партии и правительству**” отныне добавляет неперенный оборот “и лично Леониду Ильичу **Брежневу**”. Согласно частушке: Если женщина красива и в постели горяча – это личная заслуга Леонида Ильича¹³. Иронические прецедентные тексты советского времени с ситуативными комментариями используются для передачи эмоционально-оценочного восприятия социальных проблем дня: ... мы уже сейчас стоим при 40 долларах за баррель нефти... “Передайте Горбачу, нам и 10 по плечу. Если будет 25, снова будем Зимний брат”, – это про водку говорили при Горбачеве. Сейчас в похожих цифрах мы говорим о ценах на нефть (А. Голубович, Российская газета).*

Отсутствие метаязыковых комментариев в ироническом высказывании может привести к коммуникативной неудаче. В то же время комментарий снижает эффект удовольствия, связанный с расшифровкой адресатом семантики тропа. Вот почему авторы тематически актуальных высказываний и текстов избегают разъяснений основ иронии: *Мы, разумеется, необычная, особая страна, а не **гниющая Европа** (Л. Радзиховский); Лидер КПРФ поделился удивительным открытием: “У нас, у людей, душа видна на лице. И, например, за рубежом, если идет наш человек, я его узнаю без разговора”. Вот тут непонятно – как: то ли по **ленинской хитринке** в глазах, то ли по **брежневскому чувству глубокого удовлетворения** (Комсомольская правда); В маленькой Киргизии прекрасно знали, что страной по сути владеют семь братьев президента. Они **стахановскими темпами** растаскивали и так небогатый бюджетный “пирог” (Комсомольская правда).*

Наблюдения показывают, что казавшийся естественным вывод о том, что “вся советская лексика относится к разряду устаревшей”¹⁴, не может быть соотнесен с текущей языковой ситуацией. Можно

предположить, что отсутствие целостности российской государственной идеологии, “левый поворот” в политике¹⁵ в значительной мере обусловили использование тоталитарного языка советской эпохи, располагавшего структурированной системой идеологем, как языка-донора.

В высказываниях и текстах наших дней активно употребляются советизмы: идеологически первичные значения реализуются не только при описании советского прошлого, но и при воспроизведении событий и фактов настоящего, при сопоставлении настоящего и прошлого. Семантические сдвиги наблюдаются при погружении советизмов в контекст дня. Активизация советизмов-ярлыков, оценочных формульных сочетаний, стандартных пафосных выражений, прецедентных высказываний – все это способствует возрождению советской стилистической манеры, в той или иной степени свойственной современной политической речи, газетной и телевизионной публицистике. Неабсолютным оказывается коммуникативно-идеологический эффект иронического использования советизмов.

¹ Ермакова О. П. Тоталитарное и посттоталитарное общество в семантике слов // Русский язык. – Орле, 1997. – С. 121–163; *Русский язык конца XX столетия* (1985–1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. – М., 1996. – 480 с.; Складерская Г. Н. Слово в меняющемся мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы // Исследования по славянским языкам. – Сеул, 2001. – С. 178–202; *Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация* / Отв. ред. Л. П. Крысин. – М., 2003. – 568 с. ² *Ідеологічні та естетичні стратегії соціалізму*. – Вип. 1. / Відпов. ред. В. Хархун. – Київ, 2010. – С. 7–56; *Советское прошлое и культура настоящего: монография: в 2 т.* / Отв. ред. Н. А. Купина, О. А. Михайлова. – Екатеринбург, 2009. – Т. 1. – 244 с.; Т. 2 – 396 с. ³ *Толковый словарь русского языка: в 4 т.* / Под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1935–1940. – Т. 4. – С. 341. ⁴ Ермакова О. П. Жизнь российского города в лексике 30-х–40-х годов XX века: Краткий толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений. – Калуга, 2008. – 172 с.; Черняк В. Д. Агнотимы в лексиконе языковой личности как источник коммуникативных неудач // Русский язык сегодня. – М., 2003. – С. 295–304. ⁵ Добренко Е. Фундаментальный лексикон: Литература позднего сталинизма // Новый мир. – 1990. – №2. – С. 237–250. ⁶ Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб., 1998. – С. 458–459. ⁷ *Русский язык и советское общество* (социолингвистическое исследование): Лексика современного русского литературного языка / Под ред. М. В. Панова. – М., 1968. – С. 25. ⁸ Чудакова М. Язык распавшейся цивилизации: Материалы к теме / Новые работы: 2003–2006. – М., 2007. – С. 351–394. ⁹ Парфенов Л. Намедни. Наша эра. 1971–1980. – М., 2009. – С. 28. ¹⁰ Там же. – С. 138. ¹¹ Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 1971. – С. 90–104; Лысакова И. П. Язык газеты и типология прессы: социолингвистическое исследование. – СПб., 2005. – С. 28–51. ¹² Романенко А. П. Советская герменевтика. – Саратов, 2008. – С. 54–66. ¹³ Парфенов Л. Намедни. Наша эра. 1971–1980. – М., 2009. – С. 164–165. ¹⁴ Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб., 1998. – С. 8. ¹⁵ Ходорковский М. Левый поворот // Ведомости. – 01.08.2005.

Русистика

Вып. 11

Київ – 2011

Н. И. Коновалова (Екатеринбург)

САКРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ КАК ФЕНОМЕН ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

В современной лингвокультурологии, этно- и социолингвистике и ряде других смежных с лингвистикой областей научного знания актуальными становятся исследования текста как феномена, соединяющего пространства языка и культуры.

При исследовании сакрального содержания, формы его выражения в тексте и представленности в культурной традиции необходимо учитывать, прежде всего, то, что это фольклорный текст, бытующий в основном в устной традиции и выступающий, следовательно, как “культурная память” социума. Эта память избирательна и непоследовательна, зависит во многом от моды и других социокультурных факторов и поэтому может “стираться”. Ср.: “Традиционная народная культура – крестьянская, территориальная, диалектно неравномерная, с целым рядом типовых признаков и множеством местных вариантов, воплощенная в фольклоре, национальном костюме, в народных ритуалах, музыке и танцах, в художественных промыслах, – явление угасающее, растворяющееся в современной интегрирующей цивилизации”¹. В таком случае средством борьбы с “амнезией” культурной памяти, источником выявления информации об этом феномене являются культурные тексты в семиотическом смысле этого понятия, тексты многокодовые, в которых вербальные и невербальные компоненты выступают как единый смысловой комплекс, как взаимодополняющие способы передачи культурно значимой информации от поколения к поколению. При этом “следует иметь в виду, что здесь мы имеем дело не с отдельными самодостаточными явлениями, подобными материальным предметам, а с функцией, ролью: поэтическое и прозаическое, <вербальное и невербальное> и т. д. постоянно меняются местами, передвигаясь в едином динамическом целом культуры. Поэтому нельзя в областях культуры и быта

априорно отвергнуть тот или иной элемент, как незначительный”². Снятие с текста ограничений вербальными рамками характерно для этнолингвистических исследований в русле школы Н. И. Толстого, объясняющего такой подход следующими обстоятельствами: “Культура многоязычна в семиотическом смысле этого слова и нередко пользуется одновременно в одном тексте несколькими языками. В этом случае ... под текстом понимается не последовательность написанных или произнесенных слов, а некая последовательность действий и обращения к предметам, имеющим символический смысл, и связанная с ними речевая последовательность. Считая, например, обряд таким текстом, выраженным семиотическим языком культуры, мы выделяем в нем три формы, три кода или три стороны языка – вербальную, реальную (предметную) и акциональную (действенную)”³.

Продуктивным для анализа сакрального текста (далее – СТ) как лингвокультурного феномена представляется подход к тексту как к семиотическому способу трансляции информации. Ср. понимание текста как модели мира, обусловленной “присущим данной культуре семиотическим пространством”⁴.

Традиционно понятие “сакральное” связывается с понятиями “священное”, “религиозное”, “культовое”. Однако более детализированные словарные дефиниции сакрального дают основания для расширительного определения сути этого понятия: сакральное – 1) особые существа, связи и отношения, которые в различных религиях приобретают характер сверхъестественного; 2) совокупность вещей, лиц, действий, текстов, языковых формул, зданий и пр., входящих в культовую систему⁵.

Сакральный компонент, таким образом, характеризуется целым спектром содержательных характеристик:

а) ‘священный’, ‘обрядовый’, ‘ритуальный’, ‘таинственный’, ‘магический’, ‘сверхъестественный’ (см. конкретизаторы, которые приводятся в словарных дефинициях). В этот ряд включаются как субстанциональные свойства сакрального, так и функциональные признаки, которые характеризуют форму его проявления (обряд, ритуал, магия). Здесь понятие “священное” – лишь один из компонентов, составляющих сверхъестественное, одна из его ипостасей;

б) ‘относящийся к существу, персонажу, лицу’, а также ‘к вещи, зданию, действию, таинству’ (см. релятивные параметры словарных толкований). Данные характеристики демонстрируют воплощение сакрального в некотором персонифицированном или опредмеченном начале;

в) сакральность – явление комплексное, его значение может быть передано разными кодами: вербальным (тексты, языковые формулы), акциональным (действия, обряды, ритуалы), предметным (вещи, здания), субъектно-объектным (существа, персонажи, лица) и т. д. (см. содержательный компонент ‘совокупность’ в ряде словарных статей).

Вполне закономерно, что при расширительном понимании сути сакрального в фокус интерпретации попадают как языковые единицы религиозного (и шире – культового, обрядового) содержания, так и демонологическая лексика и фразеология как два полюса одного феномена: “Сакральное обладает благоприятным или неблагоприятным действием и характеризуется противоположными понятиями чистого и нечистого, святого и кощунственного, которые своими границами как раз и обозначают пределы религиозного мира”⁶.

Разрабатываемая нами концепция расширительного толкования сути сакрального позволяет рассматривать СТ в качестве компонента традиционной духовной культуры народа и источника этнокультурной информации. Опираясь на предложенное выше понимание сакральности, к СТ мы относим заклинания, заклички, обереги, заговоры, гадания, обрядовую поэзию, традиционный народный календарь, а также “свернутые” тексты: мифологемы и приметы, устойчивые ритуальные формулы и идиомы, связанные с отдельными семантическими полями. Предварительные наблюдения над формой организации сакрального содержания в указанных СТ, а также над особенностями их функционирования и восприятия современными носителями языка (говора) позволяют выдвинуть следующие предположения относительно параметров, которые необходимо учитывать при интерпретации СТ как лингвокультурного феномена:

1. В сознании современного носителя языка в той или иной степени представлены структуры мифологического сознания, которые дают возможность адекватной интерпретации сакрального содержания.

2. Сакральному тексту присуща своя логика, поскольку его цель – воздействие на адресата, не предполагающее рациональной оценки содержания, которое принимается как нечто данное.

3. Для передачи культурно значимых смыслов в СТ моделируются особые типовые ситуации, реальные или воображаемые (= симулякры), при этом “действительность передается не прямо, а сквозь призму известного мышления, <в котором> еще не существует причинно-следственных связей, здесь господствуют иные формы связи ... За реальное признается то, что мы никогда не признаем за реальное, и наоборот”⁷.

4. Основным элементом культурного содержания СТ является регламентация, которая проявляется, в частности, в предписании адресату сообщения выполнять определенные действия *post factum* с учетом описанной в тексте ситуации и на основе “отфильтрованных” народной аксиологией стереотипов поведения.

5. Сакральный текст имеет регламентированные традицией правила и / или условия произнесения, четко предписывающие исполнителю соблюдение мельчайших деталей (от слов и интонации до жестов и атрибутики). Кроме того, СТ часто является лишь фрагментом сакрального ритуала, обряда, однофункциональной и семантически однородной системы текстов, которые объединяются в некий макротекст.

6. Интерпретация полученной информации осуществляется с учетом существенных для адресата сообщения социальных, этнопсихологических, лингвокультурных и пр. пресуппозиций.

7. Сакральность, с одной стороны, – явление стабильное (текст практически в неизменном виде передается от поколения к поколению), с другой – динамичное (в процессе функционирования текст может десакрализоваться).

8. Любой СТ характеризуется символичностью и суггестивностью.

Отмеченные признаки условно обозначим как элементы канона СТ, определение которого можно сформулировать следующим образом: сакральный текст – это произносимый по особым правилам или в особых условиях суггестивный текст, символически насыщенный, обладающий относительно устойчивой формально-содержательной структурой, которая отражает особенности мифологического сознания.

Прокомментируем компоненты данного определения.

Особые правила и / или условия произнесения сакрального текста. Сакральные тексты характеризуются ритуализованностью, т. е. непременно включением текста в ритуал его исполнения. Для того чтобы СТ возымел действие, для каждого жанра существуют свои правила произнесения. Так, заговоры проговариваются интонационно невыразительной скороговоркой или шепотом; заклинания – с особой интонационной и ритмической выразительностью, сопровождающейся экзальтацией и усиленной жестикуляцией. Условия произнесения СТ также регламентированы традицией. Заговоры читаются чаще всего немолодыми женщинами, обладающими “тайным знанием”; приметы произносятся всегда “к случаю”, определяя действия адресата. Произнесение текста заговора детально регламентировано ритуалом (обрядом), который, выступая как зеркало морально-этических, национально-культурных, культовых и других представлений народа, детально “алгоритмизирует” действия участников. Например, регламентированными компонентами ритуала излечения были место и время его проведения. Так, прострел (‘острая пронизывающая кратковременная боль’) лечили *обязательно где-нибудь на дверном пороге* (считалось, что эта боль “входит” в человека с порывом ветра, когда кто-нибудь чужой открывает дверь); *в бане* сначала лечили вывихи (ср. расслабление мышц от тепла), потом почти все болезни изгоняли в бане: *Наеись луку, ступай в баню, натришь хреном да запей квасом // Баня – мать вторая. Кости распаришь, все тело направишь*⁸; место у огня (у печи, костра) использовалось при лечении от лихорадки, а *между огнями* – от повальных болезней и мора скота, когда стадо скота прогоняли между огнями; на *межу* (символическое воплощение грани жизни и смерти) выносили особо тяжело больных, когда непонятна была причина заболевания, другие способы не помогали и надежд на выздоровление было мало (ср. выражения *пограничное состояние, между жизнью и смертью*). Время проведения ритуального действия было приурочено к восходу и заходу солнца, например, *по трем зорям* – вечером, утром и вечером следующего дня изгоняли лихорадку; *на вечерней заре* читали заговоры против зубной боли, *на утренней заре* – от “насыльных” болезней (порчи, сглаза, испуга и прочих детских болезней, которые, как традиционно считалось, были “насланы” на детей специально в наказание родителям). Лишь “обманные” ритуальные действия совершались *ночью*: прятались от лихорадки, притворялись мертвыми, заменяли человека куклой (чучелом) и т. п.

Суггестивность сакрального текста (от лат. *suggestio* ‘подсказывание, внушение, намек’) понимается нами как воспринимаемое без критической оценки активное воздействие текста на воображение, эмоции, чувства слушателя посредством образных, символических, цветовых, ритмических, звуковых и т. п. ассоциаций. Так, одним из приемов суггестии примет народного календаря является интерпретация метеорологических признаков на основе их ложноэтимологических связей (по случайному созвучию) с именами святых, связанных с днем-указателем: *Мокро на Мокея – жди лета еще мокрее; На Луку высаживай лук; На Евтихия день тихий* и др. Суггестивный эффект основывается в таких случаях уже не на семантических, а, скорее, на формальных (фонетических, звуко-символических, ритмико-мелодических, структурных) параметрах СТ. Ср., например, серии звукоподражательных обозначений персонифицированного ночного детского страха, встречающиеся

в текстах заговоров от бессонницы: *шутуха-бутуха-рокоуха-стрепетуха-егозуха-лепетуха, не май и не мучь моего дитятка ...* Маркером суггестии текста, содержащего культурно значимую информацию, является не только форма языкового знака, но и семантический потенциал ритуала, в который включен вербальный текст.

Символическая насыщенность сакрального текста связана с тем, что СТ не простое бытописание, это представление о бытии по модели архаичного сознания, которому была свойственна произвольная эмоционально-ассоциативная связь реального и воображаемого, природного и человеческого, вещи и ее имени, слова и действия и т. п. Сакральный текст – это особый ритуализованный мир, насыщенный символическими знаками, понять смысл которых можно только при соотнесении их друг с другом. Мифосимволизм продемонстрируем на примере гадательного СТ. Каждый знак в нем – условный, имеющий множественную интерпретацию, которая зависит от адресата сообщения (его “запроса”, состояния, жизненных обстоятельств, воображения и т. п.), от исполнителя (его мотивов, компетенции, творческой фантазии и т. п.), от соотнесения с другими знаками и т. д. Так, одним из видов гадания является объяснение тени: *Листок бумаги, на котором записан вопрос, сминают в комочек, поджигают на тарелке, поднесенной к стене, и смотря на тень, пытаются разглядеть какое-либо изображение и объяснить его с учетом заданного. Тень человека предвещает незамужней девушке встречу с суженым, бедному – неожиданную помощь, богатому – кражу имущества* и т. д. Прогностический потенциал визуального знака реализуется в опоре на самые общие социальные, культурные, бытовые и др. имплициты (“девушка надеется выйти замуж”, “слабый ждет помощи от сильного”, “богатый боится потерять нажитое” и т. п.), что дает возможность установления различных ассоциативных связей для формирования содержания гадательного СТ. Ассоциативную связь мы, вслед за Т. А. Гридиной, понимаем как “основу вариативности планов выражения и содержания словесного знака ... во всех возможных аспектах его актуализации, включая системные и асистемные тенденции его функционирования в языке и речи и намерения (интенции) интерпретатора”⁹. Вербальный компонент СТ чаще всего варьируется в соответствии с реакцией адресата гадательного прогноза на первые реплики и поддерживается акционально-предметным компонентом СТ (сжигание листа бумаги с вопросом), “эксплуатирующим” двойственную символику огня – стихии уничтожения, разрушения, смерти, с одной стороны, и очищения, света и тепла, – с другой.

Относительная устойчивость формально-содержательной структуры сакрального текста – “требование” его магической функции. Устойчивость проявляется в разных жанрах СТ по-разному. Например, для примет – составом тематики предсказаний и набором регламентаций, для заговоров – набором клишированных языковых формул и т. д. Общим параметром устойчивости СТ является то, что основная его часть воспроизводится, а не порождается, варьируются могут отдельные детали, но не инвариантная формально-содержательная структура.

Вариативность проявляется в таких параметрах, как: а) выбор лексического наполнения структур; б) территориальная и временная изменчивость; в) соотнесенность отдельных компонентов с разными символами и ситуациями; г) возможность передачи одного и того же содержания разными средствами; д) набор символов, соотносимых с традиционными мотивами и значимых для данного этнокультурного пространства. В качестве ограничителей вариативности выступают функция текста, адресная направленность и традиция.

Существенным для понимания параметра “устойчивость” СТ является определение “относительная”, что связано с явлением десакрализации. Этот процесс отражает общую динамику функционирования отдельных форм традиционной культуры, связанную с забвением их первичных функций и мифоритуальных основ. Так, например, приметы и заговоры могут базироваться на игровой когнитивной стратегии, становясь в большей или меньшей степени игровыми текстами, не выходя при этом за рамки жанра. В этом случае можно говорить об утрате изначальной связи приметы с ритуалом и магией, что ведет к функциональному сдвигу в целеполагании текста: если исконная функция приметы эзотерическая, то в настоящее время усиливается ее познавательная, развлекательная, эстетическая функция. Исходная магия тайного знания стирается.

Отражение особенностей мифологического сознания в СТ заключается в том, что языковые средства СТ конституируют основные параметры сопоставления макро- и микрокосма (природы и человека), важные, с точки зрения носителей архаического сознания, приемы воздействия человека на окружающий мир. Здесь не может быть истинного или ложного сопоставления, поскольку таковы особенности пралогического сознания. Таким образом, в результате подобных сопоставлений не просто описываются свойства явлений, а актуализируются наиболее важные для языкового сознания (или мифологического мышления) признаки, раскрываются их магические связи и т. п. Приведем в качестве иллюстрации примеры симпатической магии, которая заключена не только в создании

ритуального (акционального) подобию, но и в вербальном выражении сопричастности сходных предметов, животных и человека как части природы, что приводит к установлению между ними глубинных связей. Считается, что, используя механизмы установления тождества, в том числе и вербального (имени и вещи, лица), можно воздействовать на различные “символические эквиваленты” человека или животного и тем самым опосредованно влиять на него самого. Ср., например, заговор, построенный на таком подобию: *Чтобы корова домой ходила с пастбища. Кладут в ворота пояс, который носят часто, и говорят: “Как этот пояс всегда со мной, не отходит от меня, так чтоб и ты, моя коровушка, не отходила от двора”*.

Одним из наиболее популярных средств симпатической народной медицины является воздействие на символические эквиваленты симптома болезни или лечение больного с помощью этих эквивалентов. При этом само название обряда выступает в качестве симпатического средства. Отметим в этой связи магические заклинания, заклички, присловья, заговорные формулы, наговоры, в которых обыгрывается эпидигматическая связь названия болезни по названию производимого ею в организме действия, и обозначения действия, которое должно быть произведено над самой болезнью с целью ее уничтожения: – *Что грызешь? – Грызь грызу. – Грызи, да гораздо*. Название болезни *грызь* ‘резь, ломота, ноющая острая боль’ связано с определенными болевыми ощущениями “боль грызет”, поэтому в соответствии с принципами симпатической магии, чтобы избавиться от боли, ее надо *изгрызть*. Кроме того, в данном случае магический эффект усиливается за счет фоносемантического сближения контекстуальных партнеров с одинаковым консонантным звукокомплексом [грз]: *грызь – грызи – гораздо*.

СТ как лингвокультурный феномен является, таким образом, особой устойчивой формой выражения стереотипных представлений культурного содержания, значимого для коллективного сознания в его мифологической составляющей.

¹ Химик В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. – СПб., 2000. – С. 240. ² Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб., 1994. – С. 387. ³ Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М., 1995. – С. 15–16. ⁴ Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М., 1996. – С. 165. ⁵ Энциклопедический словарь по культурологии / под ред. А. А. Радугина. – М., 1997. – С. 337. ⁶ Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. – М., 2003. – С. 166. ⁷ Пропп В. Я. Поэтика фольклора. – М., 1998. – С. 146. ⁸ Даль В. И. Пословицы русского народа. В 3-х т. – Т. II. – М., 1993. – С. 170–171. ⁹ Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатеринбург, 1996. – С. 38.

РҮСНИСТИКА

Вып. 11

Київ – 2011

Т. А. Гридина (Екатеринбург)

АССОЦИАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ

Среди различных показателей лингвистической креативности наибольшим рейтингом, несомненно, обладает языковая игра – удивительный в своей многоликости феномен, отражающий потенциал языковой системы и уровень творческой активности личности, осознанно вступающей на путь разрушения языкового канона.

При множестве существующих подходов к обоснованию природы языковой игры специального обсуждения заслуживает вопрос о том, что побуждает адресанта использовать в своей речевой деятельности код языковой игры, какую информацию транслирует этот код, к каким знаниям адресата он апеллирует? В качестве основных коммуникативных стимулов, побуждающих говорящих к языковой игре, отмечают следующие:

- “стремление пошутить, не быть скучным”, проявляемое в формах острословия и балагурства (Е. А. Земская);
- склонность к языковому эксперименту, который заключается в эксплуатации “аномалии” на фоне знания нормы (Н. Д. Арутюнова); в “игре на гранях языка”, обнаруживающей нереализованный и интуитивно ощущаемый говорящими потенциал языковой системы (Б. Ю. Норман¹); в языкотворчестве, связанном с обновлением имеющегося арсенала готовых номинативных единиц (В. З. Санников);
- потребность эмоционального самовыражения, усиления экспрессии речевого воздействия (ср., например, рекламный дискурс в современной языковой ситуации);

- гармонизация (нейтрализация, смягчение) речевого конфликта (например, использование эвфемизмов, игровых перифраз);
- обращение к языковой игре как неотъемлемая черта неофициального корпоративного общения (например, в сфере молодежного и компьютерного жаргонов);
- стремление к самовыражению в сфере художественного творчества, где языковая игра акцентирует черты авторского идиостиля и мировидения (Т. А. Гридина ²).

Однако интерпретационная сущность механизмов языковой игры все же остается “за кадром”, если не учитывать того ментального субстрата, который особым образом обрабатывается в соответствии с игровой интенцией говорящих.

Исходя из представления о языковой игре как “особой форме лингвокреативного мышления” ³, мы считаем таким ментальным субстратом ассоциативный потенциал языковых единиц, образуемый всей совокупностью реакций на соответствующий знак (слово, словоформу, устойчивые словосочетания и т. п.), актуализация которых при создании продукта языковой игры, или “игремы” (термин наш – Т. Г.) позволяет моделировать нестандартный контекст ее восприятия путем актуализации и одновременного переключения, ломки ассоциативных стереотипов.

Под ассоциативным стереотипом понимаем относительно устойчивую (ядерную) зону соотносительных с тем или иным знаком частотных реакций – с учетом сферы его функционирования, социально-профессионального статуса потенциальных пользователей и других значимых для коммуникации переменных. Ассоциативные поля игрем, рассмотренные с точки зрения их ядерно-периферийной структуры, показывают актуальное для говорящего соотношение стереотипных и нестереотипных ассоциатов в свете выраженной игровой интенции. Именно ассоциативный контекст знака, манифестируемый подчеркнутым формальным или семантическим отклонением игровой трансформы от некоего узнаваемого прототипа, создает перспективу ее интерпретации и считывания адресатом.

Согласно нашей концепции, ассоциативная стратегия языковой игры состоит в создании имиджа игремы на фоне реально существующих языковых (речевых) аналогов – оппозиция сходства-различия между знаком-прототипом и игровой трансформой имеет условный характер, но выглядит вполне правдоподобно. Эта стратегия реализуется при помощи особых конструктивных принципов, как то: “имитация”, “ассоциативная интеграция”, “ассоциативное наложение”, “ассоциативная провокация”, “ассоциативная выводимость”, а также лингвистических приемов языковой игры: гибридизация, ремотивация и реноминация, омофоническое переразложение, пародирование узуальных и создание окказиональных словообразовательных и семантических дериватов и т. п., моделирующих нестандартный ассоциативный контекст употребления, порождения и восприятия игровой единицы ⁴. Условность игремы – ее обязательный признак, поскольку основная пружина любого вида игровой деятельности состоит в способности “выдавать” некую условность за реальность, способность игрового феномена существовать в условно-реальном измерении. Чем более многомерна ассоциативная валентность прототипа, чем сложнее использованный конструктивный принцип и прием языковой игры, тем глубже интерпретационная составляющая игремы.

Субстанциональная природа языковой игры определяется, таким образом, ассоциативным потенциалом единиц языка, в том числе ассоциативным потенциалом слова, в понимании которого мы исходим из постулата о “бесконечной интерпретационной валентности языкового знака” (А. Ф. Лосев) и из широкой трактовки ассоциативной связи, проявляющей любые актуальные для сознания носителей языка аспекты содержания и формы вербальных единиц (как в зоне внутрисистемных – междусловных и внутрисловных отношений, так и в зоне речевого прогноза, связанной с актуализацией компонентов ядра, ближней и дальней периферии слова). Ассоциативный потенциал слова в этом смысле может быть представлен в виде всей совокупности формально-смысловых ассоциаций, присущих слову как единице языка и индивидуального сознания говорящих и определяющих возможность его разнообразной интерпретации в конкретном акте порождения, употребления, восприятия (в том числе при установке на языковую игру). Языковая игра выступает при этом как специфическая форма лингвокреативного мышления, основанного на ассоциативных механизмах (создания нового на базе элементов прошлого опыта).

Код языковой игры как способ моделирования игровых трансформ путем разных приемов формально-семантической модификации узуальных знаков или слово- и формотворчества рассчитан на лингворефлексию адресата и требует дешифровки с учетом креативной техники, использованной в процессе создания игремы. Привлекательность кода языковой игры для адресата состоит, таким образом, в побуждении адресата к речемыслительной активности, своеобразном “тестировании” собеседника на способность общаться в заданном игровом регистре. В то же время языковая игра дает

адресанту возможность наиболее эффективным способом позиционировать себя как партнера по коммуникации в расчете на компетентность адресата, способного понять и оценить нестандартный речевой ход. Однако считывание игровой интенции осуществляется по принципу вероятностного прогнозирования ввиду индивидуальности ассоциативного контекста вербальных единиц у разных носителей языка и “проявленности” соответствующих факторов лингвистической креативности личности *homo ludens* (способность устанавливать отдаленные ассоциации; способность продуцировать разнообразные идеи в сравнительно неограниченной ситуации; способность изменять форму стимула так, чтобы придать ей новые возможности; способность обнаружить функцию объекта и изменить ее⁵).

Формальный и/или семантический коды языковой игры обнаруживают тенденцию к автономной актуализации плана выражения и плана содержания знака, которые могут намеренно “разводиться” и “сближаться” в заданном потенциалом языка и компетенцией говорящих речетворческом диапазоне. Языковая игра в частности моделирует новое содержание в рамках уже готовых языковых форм и выявляет психологическую природу восприятия семантической нагруженности звуковой оболочки и структурной модели слова.

Так, формальный лингвистический код языковой игры, основанный на актуализации фонетических и структурных аналогий, нередко используется в целях парадоксальной семантизации узуальных слов. Например, *модуль* ‘франт’ (ср. *модник*), *капелла* ‘пипетка’ (буквально ‘инструмент для закапывания капель’), *сметана* ‘дворничиха’ (‘та, что подметает двор’, ср. *сметать пыль, мусор*), ‘отличник’ (буквально ‘сметливый ученик’), *колун* ‘фехтовальщик’ (буквально ‘тот, кто колет, наносит уколы шпагой’) и т.п. Шутливые значения узуальных слов моделируются путем сближения с подобранным по случайному созвучию мотиватором; последний выступает элементом ономастической пропозиции, соответствующей определенному принципу номинации. В приведенных примерах имитируются в частности принципы (и структурные модели) номинации лица по склонности к какому-либо действию и предмета по производимому им действию. При этом членение слова (особенно немотивированного) нередко принимает абсолютно произвольный характер: в качестве опорного компонента толкования выступает квазикорень (фонетически сходный сегмент сближаемых слов), а остаточный сегмент интерпретируемого слова “приравняется” к аффиксу. В случае произвольного толкования мотивированных слов игровой прецедент создается подменой значения корня (при актуализации его многозначности и омонимии) и варьированием тематической специализации форманта: *лимонница* ‘миллионерша’ (от *лимон* в значении ‘миллион’ + *-ница* в значении ‘лицо жен. пола’, буквально ‘владелица миллиона(ов)’); ‘сберкасса’ (от *лимон* ‘миллион’ + *-ница* в значении ‘помещение, где можно хранить миллион(ы)’), ‘гранатометчица’ (от *лимонка* с усечением основы + *-ница* со значением ‘лицо жен. пола’, буквально ‘та, что может метать гранаты-лимонки’). Как видно из этих примеров, корень *лимон* варьирует в диапазоне омонимических значений (‘фрукт – миллион – граната’), суффикс – в широком тематическом диапазоне ‘лицо – предмет’. Языковая игра, основанная на принципе ассоциативной выводимости, в таких случаях эксплуатирует потенциальную вариативность и идиоматичность словообразовательных структур.

Формальный код языковой игры актуализирует преимущественно периферийные компоненты содержательной структуры слова, его лексический фон. Это хорошо видно при анализе игрового контекста так называемых загадок-шуток, построенных на намеренном рассогласовании лингвистически смоделированной и реальной внеязыковой ситуации. Ловушка заключается в том, что сформулированный в загадке вопрос не соответствует логике вещей и стимулирует адресата к поиску ответа на основе собственно языковых (формальных) ассоциаций. Например: *Когда лес бывает закуской? – Когда он сыр*. В вопросе задается ложно ориентирующая относительно свойств объекта предикация (*Лес бывает закуской*). Осознание парадокса данной посылки заставляет искать ключ к отгадке в области языковых ассоциаций: ср. цепочку, позволяющую через ряд промежуточных шагов установить ассоциативную корреляцию между стимулом *лес* и реакцией *закуска*: *лес – бор* (синонимическая замена) – *сыр-бор* (устойчивое выражение с кратким прилагательным от *сырой*) – *сыр* (омоформа к краткому прилагательному, ср. сыр ‘молочный продукт’ = закуска). Таким образом, языковая игра задает направление такого ассоциативного поиска, в котором должна “сработать” периферийная (фоновая) связь слова *сыр* с его омоформой в составе устойчивого выражения. Конструктивным принципом языковой игры выступает в данном случае ассоциативная идентификация лексем (*лес – закуска: сыр-бор – сыр*) на “ложном” семантическом и формальном основаниях. При этом формальный код языковой игры представлен в скрытом (латентном) виде и его дешифровка требует от адресата загадки-шутки высокого уровня лингвистической креативности (способности к считыванию игровой интенции разнонаправленной языковой природы).

Омофоническое переразложение – не менее популярный прием языковой игры, эксплуатирующий свойство подвижности границ слова в потоке речи. Однако “ослышки” обнаруживают актуальность при восприятии речи именно тех фрагментов звукового потока, которые семантически релевантны для понимания сообщения конкретным адресатом. Омофонические сбои при восприятии высказывания на слух нередко в обычной речевой практике (спонтанном общении, не ориентированном на языковую игру) и демонстрируют несовпадение аспектов понимания высказывания говорящим и слушающим, часто вызывая комический эффект “постфактум”. Омофонический код языковой игры намеренно моделируется по принципу ассоциативной провокации, порождающей неоднозначность смысла высказывания. Ср. построенный на этом принципе анекдот, имитирующий эффект ослышки в разговорном диалоге (собеседники – актёры):

– По роли мне полагается петь.

– Это какие же пароли ты будешь петь?

– Да не пароли петь, а роль играть такую, где петь нужно! (Смеются оба собеседника).

Семантический код языковой игры эксплуатирует подвижность ядерно-периферийных компонентов в структуре значения слова, нарушая типовой прогноз его реализации в речи.

Отметим некоторые типичные пути развития общей игровой стратегии переключения / ломки ассоциативных стереотипов употребления и восприятия узуальных лексем с использованием их семантического потенциала.

1. Актуализация и переключение оценочно-прагматических стереотипов употребления и восприятия слова на основе связи *денотат – коннотат – референт*. Ср. прием метафорической идентификации слов одной тематической группы: “Ты не просто *иляпа*! – обращается девушка к молодому человеку. – Ты *панамка* детская!”.

Узуальным переносным значением ‘растяпа’ в этой связке обладает только слово *иляпа*. В основе метафорического переноса лежит пропозиция ‘головной убор из мягкой ткани’ и культурные коннотации ‘головной убор интеллигента’, отсюда значение ‘нерешительный, нерасторопный’, ‘несобранный’, ‘рассеянный’ при употреблении слова *иляпа* в предикативно характеризующей функции. Оказиональный смысл слова *панамка* имеет отраженный характер (наведен контекстом, в котором актуализирована та же модель метафорического переноса: *панамка* – о человеке, нерешительном и беспомощном, как ребенок – с акцентом на пропозиции ‘детский головной убор из тонкой тряпичной ткани’).

Эффект языковой игры с оценочно-прагматическими стереотипами достигается также намеренным смещением референтной отнесенности слова. Так, положительно окрашенные лексемы могут использоваться для характеристики объекта той же денотативной сферы, заведомо не обладающего приписываемыми ему оценочными параметрами: *Не забудь в командировку свои карбункулы взять* (о дешевых сережках), ср.: *карбункулы* – о драгоценных камнях / *Шикарная иномарка!* (о машине “Ока”; ср.: *иномарка* – о дорогой престижной машине). Таким образом, намеренным употреблением слов с отрицательной коннотацией по отношению к положительно оцениваемым референтам создается ассоциативный контекст иронического контраста. “Плюс” и “минус” в ассоциативном поле языковой игры часто меняются местами.

2. Нарушение коммуникативного прогноза по принципу ассоциативной провокации: обыгрывание смысловой неоднозначности знака как единицы языка и речи, коллективного и индивидуального сознания.

Ассоциативный контекст, моделируемый на основе актуализации ситуативного (личностного) смысла слова в высказывании, переключает стереотипы системного “видения” знака. Такова, например, обыгрываемая в анекдоте подмена родовидовых коррелятов, имитирующая ситуацию непонимания между коммуникантами: *По шоссе в сплошном потоке машин “ползет” такси. Пассажир обращается к шоферу: “Вы не могли бы передвигаться побыстрее? – Я, конечно, мог бы, – отвечает шофер, – но во время работы нам нельзя выходить из машины”.*

Глагол *передвигаться* как гипероним (родовое наименование) потенциально может употребляться в ситуативном контексте в значении любого из гипонимов (видовых глаголов, называющих вид и способ передвижения – *ехать, идти, бежать, ползти, лететь* и т. п.). “Несостыковка” просьбы пассажира и ответной реплики водителя задается психологически релевантным для каждого из собеседников аспектом содержания слова. *Передвигаться побыстрее* для пассажира означает ‘ехать быстрее’, для шофера ‘идти пешком’, что в обыгрываемой ситуации заключает в себе импликацию ‘пешком идти быстрее, чем пытаться ехать на машине в пробке’.

В основе подобных “игровых” сбоев лежит некий логический парадокс, создаваемый нарушением семантической предсказуемости развертывания мысли в высказывании.

Реализация принципа ассоциативной провокации часто связана и с обыгрыванием многозначности слова, определяющей его разнонаправленные (центробежные) в ассоциативном плане реализации. Ср.: *Я хочу жить в рублевой зоне, в долларовой зоне, в валютной зоне, только просто в зоне жить не хочу; Сердце шалит, ноги шалют, руки шалют; Стоит ли стучать, чтобы войти в доверие? / История партии без права переписки; И лужи, бывает, производят глубокое впечатление* (афоризмы сатириков).

3. Ассоциативная идентификация как принцип языковой игры с использованием дальней периферии значения слова (компонентов так называемого лексического фона).

Этот принцип развития общей стратегии языковой игры моделирует некий условный коррелят обозначаемого объекта, основываясь на актуализируемых (весьма отдаленных) чертах формального и / или смыслового сходства отождествляемых единиц. Таковы в частности разного рода аллюзии, актуализируемые при установке на языковую игру. Ср., например, обыгрывание названий шоколадных батончиков “Марс” и “Сникерс” путем идентификации их фонетического облика с фамилиями “вождей мирового пролетариата”: *Карл Марс* и *Фридрих Сникерс*. Звуковое сходство *Маркс* и “Марс” и структурное сходство *Энгельс* и “Сникерс” – стимул для синтагматического введения названий-“этикеток” в русло иной ономастической семантики (при актуализации стереотипа совместного употребления прецедентных имен *Маркс* и *Энгельс*). Игровая трансформация содержит намек на рекламу, усиленно навязывающую потребителю мнение об исключительном вкусе и полезности этих батончиков и формирующую представление о них как неотъемлемых атрибутах современного стиля жизни молодого поколения.

Каким бы ни был использованный прием языковой игры, актуализирующий компоненты лексического фона, в речевом контексте этот фон предстает как психологически адекватный ситуации и актуальному для говорящих смыслу высказывания.

Таким образом, ассоциативная стратегия языковой игры открывает разнообразные возможности интерпретации вербальных знаков как психологически реального феномена сознания и коммуникативной компетенции говорящих. Особо подчеркнем при этом, что ассоциативный потенциал слова, реализуемый механизмами языковой игры, включает в себя *любой* из компонентов его реального психологического значения, любые проекции узуального или личностно-актуального смысла слова, сопряженные с восприятием и интерпретацией формы и содержания знака.

¹ *Норман Б. Ю.* Игра на гранях языка. – М., 2006. ² *Гридина Т. А.* Языковая игра в художественном тексте. – Екатеринбург, 2009. ³ *Гридина Т. А.* Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатеринбург, 1996. ⁴ Там же. ⁵ *Трик Х. Е.* Основные направления экспериментального измерения творчества // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М., 1981.

Русистика

Вып. 11

Київ – 2011

И. С. Карабулатова (Тюмень)

О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ НОВОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ИЛИ НОВАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ?

В условиях глобализации и становления самостоятельных независимых государств на постсоветском пространстве становится очевидным, что взгляд на многие процессы и явления как в общественно-политической, так и в культурной, экономической и т. д. сферах и их оценка существенно изменились. В современном обществе учебная профессиональная деятельность, определяемая содержанием политической и экономической доктрин государства, основными направлениями внешней и внутренней политики, господствующим мировоззрением, призвана обеспечивать безопасность государства. Несомненно, важнейшей проблемой строительства современной системы образования является трансформация сознания, идеологии, культуры, нравственности и морально-психологического состояния молодежи, которая происходит в условиях действия глобализационных тенденций в образовании и культуре, либерализации всего человеческого сообщества. Последние исследования на постсоветском пространстве (А. Рудяков, Е. Журавлева, Н. Жумагулова, И. Карабулатова и др.) заставляют задуматься о том, что в условиях глобализации мы наблюдаем

становление нового типа языковой личности, а именно евразийской языковой личности, для которой характерно знание нескольких языков.

Уровни языковой личности, разработанные Ю. Н. Карауловым, отражают процесс усвоения родного языка. Но сегодня мы наблюдаем массовую экспансию иностранных языков в сферу национального родного языка, что отражается на всех языковых уровнях. Ученые с тревогой говорят о преобладании английской интонации в речи теле- и радиоведущих, о включении большого числа не просто изолированных экзотизмов, но и целых иноязычных фрагментов в национальную речь. Это находит отражение и в современном песенном творчестве. Например, ни у кого не вызывает затруднения толкование таких слов, как “смайл”, “forever” и т. п.

В современной отечественной и зарубежной лингводидактике сложилась качественно новая теоретическая парадигма, с позиции которой процесс обучения иностранному языку рассматривается как процесс формирования “вторичной” языковой личности. Концепция формирования “вторичной” языковой личности, овладевающей культурой иноязычного общения (И. И. Халеева, С. С. Кунанбаева, Е. К. Черникина и др.), базируется на идеях антропологической лингвистики (Э. Бенвенист, В. фон Гумбольдт, В. И. Постовалова и др.) и учении о “языковой личности” (Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, К. Хажеж и др.), истоки которых восходят к трудам академика В. В. Виноградова.

Как известно, в социолингвистике различают индивидуальное двуязычие – знание и использование двух языков отдельными членами определенного этноса и массовое двуязычие – знание и использование двух языков большинством этноса; индивидуальное зарождающееся двуязычие и коллективное существующее двуязычие; региональное двуязычие – знание и использование двух языков жителями определенного района страны и национальное двуязычие – знание двух языков данным этносом страны; естественное двуязычие – знание и использование двух языков как следствие непосредственного взаимодействия носителей этих языков и искусственное двуязычие – знание и использование двух языков как следствие преднамеренных и специально создаваемых условий изучения второго языка и т. д. Сегодня мы являемся и свидетелями, и самыми непосредственными участниками многовекторной коммуникативной войны, где вопрос статусности языка не является праздным, но отражает витальность той или иной лингвокультуры. В условиях полиязычия, усиления миграционных процессов и прозрачности границ остро встают проблемы государственного, а не стихийного лингвомоделирования языковой личности нового полилингвоментального типа. Так, например, для Тюменского региона в настоящее время главными донорами являются Украина и Казахстан, которые совокупно в межпереписной период с 1989 г. по 2002 г. составляют около 60% всех внешних мигрантов. Это находит свое отражение и в речевом поведении местных жителей. Основные страны происхождения внешних мигрантов в Тюменской области в 1989–2002 гг.: Украина – 32%, Казахстан – 27%, Азербайджан – 8%, Киргизия – 8%, Таджикистан – 6%, Узбекистан – 6%, Молдавия – 5%, Белоруссия – 4%, Армения – 2%, Грузия – 1%, Туркмения – 1%, Литва – 0%, Эстония – 0%, Латвия – 0%.

Международная миграция в Тюменском регионе в межпереписной период сформировала 1/3 новых мигрантов, из которых 98% были жителями СНГ и Балтии. В этих условиях становление евразийской языковой личности нового полилингвоментального типа в условиях национально-англо-русского и русско-национально-английского триязычия и изучения дополнительного языка – это объективный процесс действительности языковой политики в подготовке современного конкурентоспособного и мобильного специалиста в условиях глобализации.

Специфика языковой личности нового типа, о которой мы заявляем, представляет собой умелое сочетание разноструктурных языков. Например: китайского, русского, английского, казахского, арабского и языков народов России (татарского, мордовского, бурятского, других языков России) или другого постсоветского государства (например, Украины, Таджикистана, Литвы). По всей видимости, мы приближаемся к тем требованиям, которые выдвигают полинациональные государства к своим согражданам (например, Канада, Швейцария и др.). Но вместе с тем мы неизбежно столкнемся с аналогичными сложностями, что испытали эти страны. Именно многовекторность и полиаспектность коммуникативной войны становится определяющим условием возникновения евразийской языковой личности нового типа. Этот аспект очень ярко описан М. Веллером в цикле “Б. Вавилонская”: “Короче, американизм стал нормой жизни. (...) В страну хлынули персональные компьютеры. А все обеспечение на английском! Учи. Стал свободным выезд за границу. А на каком языке там изъясняться?! Везде английский. Учи. Валом ввалился дешевый халтурный импорт. А все надписи – на английском! Учи!..”¹. В одной из его повестей безымянный главный герой сначала пишет на русском, где сокрушается по поводу экспансии английского языка: “Англоамериканский язык гораздо агрессивнее русского – в нем в 2,2 раза больше жестких ударений на единицу объема текста: наш журчит, как полноводная река, а ихний стучит, как автоматическая винтовка в мозги. У него многовековой опыт

экспансии: Индия, Африка, Австралия, Канада, Новая Зеландия. Это язык опутавших мир глобалистов, так конечно он более развит, что в нем в 3 раза больший лексический запас, чем в нашем. У него на всех материках огромный материальный базис и военно-стратегический потенциал, а еще плюс контроль над мировой нефтью арабов и лицемерные подачки голодающим. И он захватывает позиции”², – затем в его речи появляются незначительные вкрапления англицизмов, которые потом становятся все обширнее. Далее мы видим уже англоязычный текст с незначительными русскими вкраплениями на кириллице (например, “He почесались! Nothing, says the president”; “But he dranked водка too much”; “Parliament in White House принял много законов” и т. п.), затем текст только на английском языке. Вслед за этим наступает и трансформация в образной картине мира русского человека. Такую печальную картину краха русской ментальности, русской этничности рисует нам писатель.

Общество в силу своей полиэтничности, складывающейся благодаря мощным процессам глобализации, находится в центре притяжения двух противоположных сил: 1) нациостремительных и 2) нациоцентрических. Поиск собственного пути, выработка национальной идеологии приводят к повторению витков эволюции общества, но на новом уровне его развития. В связи с этим, сам вопрос о необходимости толерантного коммуникативного поведения в последнее время становится все более актуальным, поскольку “в современном русскоязычном обществе активизированы те формы общения, которые отличаются повышенной напряженностью отношений между партнерами коммуникации”³, при этом можно отметить, что агрессивное речевое поведение проникает и в ономастическую сферу, в результате чего возникают названия, не просто обладающие максимально расширенной сетью ассоциаций, но закрепляющие в языковом сознании носителя языка пример языковой игры как норму. Например: “Fish’ka” (рыбный магазин, название из созвучия, где фишка в молодежном жаргоне нечто необычное, эксклюзивное, и fish – рыба), “Beer’лога” (пивной бар). Действительно, с усилением позиций английского языка в русском ономастическом пространстве проявляется скрытый художественный билингвизм⁴, креативный билингвизм⁵. Аналогичные процессы наблюдаются в целом во всех новых государствах, образованных на территории бывшего СССР, что позволило Г. Б. Мадиевой говорить о коммуникативной битве между русским и английским языками⁶. В первую очередь наиболее восприимчивым оказывается, как ни странно, ономастическое пространство, которое традиционно считается наиболее консервативным пластом лексики, но в силу того, что появилось много пограничных ономастических субпространств (прагмонимия, эргонимия, ономастика Интернета и т. п.), это поле стало настоящим индикатором коммуникативной войны.

В целом, имя, вернее, то, что стоит за именем, ономастический концепт, выступает как непостижимо сложная система. Связи, возникающие между лексикографическим, этимологическим и ассоциативными и / или психологически реальными значениями онима, выстраивают сбалансированную невидимую сеть национального языка изнутри, которая обеспечивает витальность не только языка, но и этноса. В этой связи ментальное пространство имени собственного представляет особый интерес, поскольку, функционируя в полиэтничной среде, все элементы ономастической системы находятся под влиянием эталонов стереотипов восприятия, присущих человеку как субъекту познания. Например, в названии рыбного магазина “Fish’ka” мы наблюдаем игру языковых сознаний: “фишка” (русский язык) – ‘изюминка’ (жаргон) и fish (английский язык) – ‘рыба’. Здесь имеет место сознательное моделирование смеховой реакции, которая может быть сформулирована так: воспринять комическую интенцию / неинтенциональное комическое адресанта или увидеть комическое в некомическом адресанта и остроумно отреагировать⁷.

В качестве формы хранения ономастических знаний нами выделяется специальный **ономастический модуль**: (/оним – лексикографическое значение – ассоциативное значение онима/ – ономаконцепт) – ономастический миф.

Этот модуль показывает, что мифопотенциал имени при грамотно составленном PR практически безграничен. Примером таких мегаимен могут быть: Александр Македонский, Чингисхан, Ермак, Петр Великий, Рюрик, Иван Грозный, Роксолана и т. д. Мифопотенциал имени-символа может рассматриваться как вся возможная совокупность легенд, преданий, мифов, летописей, документов, воспоминаний об этом человеке, стране, местности (реальном или вымышленном), которая может реализоваться. Все эти факторы, вне всякого сомнения, влияют на формирование современного имиджа любого государства. Однако нельзя не признать, что, прежде всего, имя страны, его наполнение является той нескончаемой Чашей Грааля, откуда сама страна, народы, проживающие в ней, берут психические силы для своего развития. Создание различных вариантов геополитического мифа страны (позитивного / негативного) невозможны без применения самых различных PR-технологий. Эта проблема становится сегодня наиболее острой при выборе языков изучения современным человеком, когда идет непрекращающаяся коммуникативная война выбора приоритета языка общения. Наблюдая за

геополитонимами как системой, мы можем говорить, что геополитонимия выступает как целостная система, которая одновременно развивается во все возможные стороны. Исходное значение, этимология имени, может затеряться в веках, но само имя, его ассоциативное значение продолжает пульсировать, рождая новые и новые ономапространства. В антропонимии последовательность анализа для различных локальных наблюдателей будет также различной, в зависимости от того, что берется за основу. Достаточно вспомнить жаркие споры вокруг имени Россия / Русь: от ярко выраженных славянофильских до, наоборот, западнических этимологий.

Современное ономатворчество как разновидность мифотворчества обретает вторую жизнь, поднимаясь на новый уровень восприятия реципиента. Те изменения, которые происходят сейчас в ономапространстве, можно условно разделить “на два типа: трансформации языковой системы и модификации (а возможно, и деформации) в сфере его использования”⁸. Эволюционные витки в ономасфере заставляют задуматься о возможностях прогнозирования витальности того или иного имени, попытаться вскрыть механизм когнитивно-семиологического бытия имени собственного. Мы говорим о прогностическом потенциале имени собственного, поскольку существуют определенные законы мозга, благодаря которым определяется витальность имени. Прогностическая ономастика как новое направление в ономастических исследованиях, опирается на существующие физико-математические закономерности, однако при этом учитывает имеющийся мифопотенциал самого имени. Такой подход позволяет свести воедино и нейролингвистическую, и психоллингвистическую составляющие с этимологическим, текстологическим, структурно-семантическим и лингвокультурологическим аспектами⁹.

Вслед за модой на все иностранное, чем всегда грешила русская знать, пришли иностранные имена взамен традиционных русских и / или иноязычные формы последних: Алина, Алиса, Мэри, Майкл и т. п. Особенно ярко это проявляется в языке чатов, где участники используют в качестве ников англоязычные варианты и английские слова (stringer, Madonna, max, lady и т. д.). Кроме того, престижность, статусность того или иного кафе, ресторана, отеля, фирмы подчеркивается английским названием: салон красоты “Black Lady”, банк “Alfa-банк”, ресторан “Green room”, магазин “Universe”, квартал “Green House” и т. д. Каждый из нас может достаточно легко продолжить этот перечень. Конечно, в противовес начали активно использоваться сторонниками сохранения этнической идентичности имена с яркой национальной привязкой: магазин “Варвара”, ресторан “Телега”, имя Добрыня (которое стало все чаще встречаться в современном русском антропонимиконе), банковский союз “Могучая кучка” и т. п.

Означает ли это, что мы приближаемся к благам западной цивилизации, или таким образом нас пытаются ассимилировать? Вопрос достаточно неоднозначный. Конечно, современные предприниматели, отдавая дань моде, вряд ли задумываются о том, какую этнолингвоинформационную опасность несут такого рода названия. Ведь не случайно В. Е. Верещагин и В. Г. Костомаров указывают, что “национально-культурный компонент свойствен именам собственным, пожалуй, в большей степени, чем апеллятивам”¹⁰. Действительно, имена собственные – флаг, символ народа, его культуры, истории. Современная ономастика уже отходит от толкования имени собственного только исключительно в рамках этимологии. Как правило, основой может служить образность, метафоро-метонимические процессы, лежащие в основе именования конкретных денотатов, и лексический фон, т. е. совокупность информации, относящаяся к названному объекту. Сегодня специалистов начинает интересовать такой вопрос: что именно вкладывает отправитель речи, используя в своем послании имя? Какую функцию выполняет имя? Какие механизмы включаются в интерпретационном процессе имени?

Традиционно исследователи ономастического пространства выделяют среди принципов номинации историчность, т. е. реальность того или иного события, человека, в честь которого назван тот или иной объект. В случае с англицизмами в современном русском ономастиконе мы, как правило, имеем дело с другим феноменом: попытками утвердиться в качестве достойного, высококвалифицированного партнера (в эргонимии, типа: Neo-Clinic), высокообразованного человека и / или диссидента, оппозиционера (в Интернет-коммуникации, например: Small), высококачественного, высокотехнологичного товара (в прагмонимии, например: фотоаппарат Kodak, строительная техника Kennis), комфортного существования (в современной топонимии микротопонимии: квартал “Green House”). Быть успешным, востребованным, динамичным – требование сегодняшнего дня, которое также пропагандируется на уровне имени собственного. Сегодня все эти образы и идеи оказываются особо востребованными в современном мыслительно-бытийном континууме. Таким образом, создается миф, что все иностранное – это очень качественное и хорошее, а отечественное – наоборот, тем самым, формируя и закрепляя у большинства носителей современного русского языка, граждан России, негативную этничность и стремление к быстрой ассимиляции американским образом жизни.

Итак, не вызывает сомнений, что сегодня современное языковое пространство – поле коммуникативной войны между: а) русским и английским языком (отсюда, на наш взгляд, яркая поляризация в наименовании новых микротопообъектов, типа: **Княжье Озеро** и **Green House** и т. п.); б) между русским языком и государственным языком той или иной страны-участницы СНГ (**Кабеденов – Кабеденулы** и т. д.); в) государственным языком страны СНГ и английским (**Халык банк – Halyk bank** и т. п.); г) русским языком и языком республик, входящих в состав нового государства (**Башкирия – Башкортостан** и РФ, Украина и Крым, Молдова – Гагаузия и т. п.); д) русским языком и языком национальных меньшинств (**Амангельдыевна – Амангельдиновна** – в формах отчеств в одной и той же семье тюменских казахов, или **Кенесар – Кенесары** и т. п.); е) государственным языком страны СНГ и одним из мировых языков (например, китайским, арабским и т. д.).

В этих условиях интерференция неизбежна на всех коммуникативных уровнях.

Динамический характер взаимодействия языков в языковом сознании языковой личности нового типа, сама коммуникативная ситуация может привести к тому, что определяющим становится не родной язык, но язык страны пребывания, либо государствообразующий язык. Вместе с тем, все несметное богатство того или иного языка встраивается в существующую лингвоментальную картину мира индивида.

Основными критериями развитой евразийской языковой личности нового типа, на наш взгляд, являются: а) обязательное владение (хотя бы в различной степени) тремя /четырьмя лингвокультурными кодами (национальным (страны пребывания), родным, русским и английским); б) умение оперировать концептами иноязычных когнитивных структур в пространстве коммуникативной культуры родного языка.

Языковая картина мира евразийской языковой личности нового типа – это некое мозаичное полотно, сотканное из данных различных лингвокультур, на основе родного языка.

Такая сложная коммуникативная ситуация в условиях глобализации требует взвешенного **этнолингвоинформационного подхода**. Здесь видится единственный выход – ориентация на государствообразующий этнос и государствообразующий язык. Наименее безопасным путем формирования евразийской языковой личности нового типа является преподавание основ родной культуры и языка сквозь призму языка и культуры государствообразующего этноса или языка суперэтноса. В целом для евразийской языковой личности нового типа характерно прохождение в ускоренном темпе тех же стадий, что проходит и этнос, а именно: а) сказочно-мифологической (знакомство с архетипами, проведение параллелей); б) нравственно-религиозной (этические нормы); в) научно-мировоззренческой (осмысление). В этом случае происходит сглаживание конфликта между представителями различных типов культур: и то, и другое осознается как свое, родное. В этой связи отношение к этничности (или ее признакам) может играть существенную роль в психической адаптации человека к его внутренней и внешней среде.

Надо признать, что формированию новой геополитической картины на территории бывшего социалистического мира предшествовали скрытые и явные тенденции к смене социально-политической парадигмы. Этническая идентичность, как и любая другая форма идентичности, формируется стихийно, в процессе социализации личности, в то же время, осознание принадлежности к определенной этнической общности становится одним из первых проявлений социальной природы человека. В условиях глобализации и становления и развития самостоятельных независимых государств на постсоветском пространстве становится очевидным, что взгляд на многие процессы и явления как в общественно-политической, так и в культурной, экономической и т. д. сферах и их оценка существенно изменились. Например, новый слоган, рисующий образ Киева в сознании жителя города и его гостей, достаточно нейтрален: “Киев – город цветов”, но он сближает мировосприятие современных киевлян с философией западных хиппи (ср. хиппи – “дети цветов”). Сам бессознательный отсыл к культуре хиппи может негативно сказаться на мировоззрении как украинцев, так и киевлян в частности, поскольку “хиппизм был альтернативным способом получения альтернативного удовольствия. И во главе всего стояла музыка, в первую очередь англо-американская”¹¹. Нет нужды повторять, как это сказалось на общественно-политической ситуации в Украине. Кроме того, отказ от древнерусских традиций, попытки создания новых версий этногенеза украинского языка (гипотеза Е. Прицака) может негативно сказаться на выстраивании общественно-политических отношений с другими “русскими” государствами: Россией и Белоруссией. Вместе с тем понятно одно, что в условиях становления новых независимых государств нам необходимы мифы как формы массового переживания и толкования действительности. Итак, полотно ономастической вселенной – это интенсивно переплетенный многомерный лабиринт, в котором онимы, как струны, бесконечно переплетаются и вибрируют в человеческом сознании, ритмично выстукивая мелодии цивилизации в целом.

Исходя из этого, требование современного времени – это сознательное лингвомоделирование языковой личности нового типа, умело использующей коммуникативные навыки различных языковых систем. Сегодня наряду с сознательным лингвомоделированием процессы усвоения нового языка или языков происходят порой стихийно, поскольку так диктует современная языковая ситуация в динамически колеблющихся параметрах глобализирующегося мира.

¹ Веллер М. *Rach Americana* // В сб. повестей “Б. Вавилонская”. – СПб., 2004. – С. 143. ² Там же. – С. 144. ³ Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. – М., 2004. – С. 27–28. ⁴ Хасанов Б. Казахско-русское художественное литературное двуязычие. – Алма-Ата, 1990. ⁵ Бахтикиреева У. М. Творческая билингвальная личность: национальный русскоязычный писатель и особенности его русского художественного текста. – М., 2005. ⁶ Мадиева Г. Б. Ономастическое пространство современного Казахстана: структура, семантика, прецедентность, лемматизация. – Алматы, 2005. ⁷ Желтухина М. Р. Тропология суггестивность масс-медиа дискурса: о проблеме речевого воздействия в языке СМИ. – М; Волгоград, 2003. ⁸ Воротников Ю. Л. Слова и время. – М.; Н., 2003. – С. 4. ⁹ Карабулатова И. С. Прогностическая топонимика: трансформация топонимического пространства в языковом сознании современных носителей русского языка. – Тюмень, 2008. ¹⁰ Верецагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990. – С. 56. ¹¹ Никитина Т. Г. Молодежный сленг: Толковый словарь. – М., 2004. – С. 775.

Русистика

Вып. 11

Київ – 2011

А. М. Григораш (Київ)

НЕОЛОГИЯ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Эволюция и динамика языковых процессов обусловлены как внутриязыковыми, так и экстра-лингвистическими факторами. В конце XX – начале XXI веков наблюдается бурная активизация процессов неологизации русского и украинского языков, вызванная новой социально-политической ситуацией в Украине, которая постоянно нуждается в новых номинациях, в том числе и фразеологических, что интенсифицирует пополнение фразеологических фондов обоих языков новыми устойчивыми сочетаниями. Подобные динамические процессы, характерные для двух славянских языков, а также исследования последнего времени, посвященные описанию и всестороннему анализу различного рода языковых и речевых инноваций, послужили мощным стимулом для активного развития нового направления в современной лингвистической науке.

Определение этого нового направления находим, в частности, в монографии известного исследователя Л. П. Попко: “Особая отрасль языкознания – **неология** – призвана выявлять пути опознания новых слов и значений, анализировать факторы их появления, изучать модели их создания, разрабатывать принципы отношения к ним (их принятие или нет) и заниматься их лексикографической обработкой (их фиксацией в словарях, определением значений и т. п.)”¹. Далее, на с. 128 своего исследования, автор совершенно справедливо отмечает: “**Неология** – это формирующаяся научная отрасль, поскольку на данном этапе ее теоретико-методологическая основа не определена, соответственно отсутствуют категориальный аппарат, нет четкого представления о предмете данной области знания”². Однако здесь мы сталкиваемся с неким временным противоречием, поскольку ранее, на с. 120, Л. П. Попко утверждает: “Наиболее заметный вклад в формировании теории неологии внесли Ф. И. Буслаев, М. М. Покровский, Е. Д. Поливанов, А. А. Потебня, А. М. Селищев, И. И. Срезневский, Л. П. Якубинский и другие ученые. Основы теории нового слова, таким образом, были заложены в русском языкознании еще в XIX веке. Но ни в XIX, ни в первой половине XX века не было выделено специального места в науке о языке для изучения инноваций в словарном запасе (хотя сам термин «неологизм» был известен еще в XVIII веке)”³. Если исследуемое направление в лингвистической науке формируется с XIX века, то совершенно необъяснимо, каким образом до начала XXI века в нем не только не определена теоретико-методологическая основа, но и не выработано четкое представление о предмете данной области знания (см. приведенное выше определение **неологии** в монографии Л. П. Попко). Очевидно, реальные временные рамки нового направления в лингвистической науке нуждаются в серьезной корректировке.

Действительно, неологизмы фиксировались и анализировались в лингвистической науке всегда, при этом особое внимание уделялось заимствованиям из различных языков. Неологизмы изучаются в школе и вузе в курсе лексики современного русского языка. Современные ученые отмечают, что

неологизм – это явление языка, охватывающее все его уровни: фонетический, грамматический, синтаксический. При этом наиболее разработанной является область лексических неологизмов. Большое количество работ отражает систему возникновения неологизмов в словообразовании. Существует ряд исследований, посвященных грамматическим (морфолого-синтаксическим) неологизмам. Наконец, плодотворным является изучение неологизмов в стилистике. Однако фразеологические неологизмы до сих пор остаются наименее исследованным пластом современного русского языка.

Из множества определений лингвистического понятия *неологизм* приведем два: “**Неологизм**. Новое слово или выражение, а также новое значение старого слова”⁴; “**Неологизмы** – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в определенный период в каком-либо языке или использованные один раз (окказионализмы) в каком-либо тексте или акте речи. Принадлежность слов к неологизмам является свойством относительным и историчным”⁵. И хотя первое определение является классическим и принадлежит С. И. Ожегову, а второе взято из фундаментальной современной энциклопедии “Русский язык”, в обоих выделяются не только *новые слова или сочетания слов*, но и *новые значения старых слов и их сочетаний*. Для нас это тем более показательно, что существуют и другие точки зрения, которых мы не разделяем. Так, доктор филологических наук Т. С. Пристайко приводит следующую градацию неологизмов по степени их новизны: “1) сильные неологизмы (собственно неологизмы, абсолютные неологизмы; это слова с оригинальной, нестандартной формой и образованием, а также новые иностранные слова (внешние вхождения); и 2) относительные, или функциональные, неологизмы, под которыми понимаются известные ранее слова, значения, сочетания, получившие новую употребительность, актуализацию или новую сферу употребления”⁶. Мы считаем, что подобная градация (“сильный” – “слабый”) не имеет никакого отношения к неологизмам как таковым, особенно если учитывать приведенные выше словарные дефиниции этого лингвистического понятия.

Определение фразеологического неологизма находим у В. М. Мокиенко: “**Фразеологические неологизмы** – это не зарегистрированные толковыми словарями современных литературных языков устойчивые экспрессивные обороты, которые либо созданы заново, либо актуализированы в новых социальных условиях, либо образованы трансформацией известных прежде паремий, крылатых слов и фразем, а также сочетания, заимствованные из других языков”⁷. И хотя известный фразеолог называет это определение “рабочим”, нам оно представляется оптимальным для современного этапа развития фразеологической неологии.

С точки зрения семантической и функциональной принадлежности В. М. Мокиенко подразделяет фразеологические неологизмы на две принципиально различные группы: “1) **семантико-функциональные неологизмы**, которые входят в идеографические ряды, объединяющие их с неологизмами лексическими; эта группа рождена динамической потребностью обозначать собственно новые явления и факты; 2) **стилистико-функциональные неологизмы**; эта группа фразеологизмов не обозначает новых явлений действительности, а рождена потребностью экспрессивной “перезарядки” фразеологии, необходимостью по-новому, иными языковыми средствами обозначать старые факты и явления”⁸. Мы же добавляем к этой классификации третью группу: **индивидуально-авторские фразеологические неологизмы**, представляющие собой окказиональные преобразования как собственно идиом, постоянно обновляющихся при помощи тех или иных приемов преобразования фразеологизмов, так и непосредственно фразеологических неологизмов. Именно такая классификация, с нашей точки зрения, включает в себя весь корпус фразеологических неологизмов и позволяет исследовать их как на уровне инвариантного функционирования, так и на уровне окказионального употребления.

Многие явления, характерные для функционирования русского языка современного периода, одним из первых отметил М. В. Панов: диалогичность; усиление личностного начала; стилистический динамизм (т. е. подвижность языковых средств); явление “переименования”; сочетания резко контрастных стилистических элементов не только в пределах текста, но и в пределах словосочетания⁹. Е. А. Земская конкретизирует данную характеристику относительно языка СМИ современного периода описанием некоторых других явлений и тенденций: события второй половины 80-х – конца 90-х годов по своему воздействию на общество и язык современной публицистики подобны революции; резко расширяется состав участников массовой и коллективной коммуникации; рушится цензура и автоцензура, журналисты начинают говорить и писать свободно; расширяется сфера спонтанного общения, причем не только личного, но и публичного, уже не произносятся и не читаются заранее написанные речи; резко возрастает психологическое неприятие бюрократического языка прошлого; появляется стремление выработать новые средства речевого выражения, новые формы образности; наряду с рождением наименований новых явлений отмечается возрождение наименований тех явлений, которые вернулись из прошлого, запрещенных или отвергнутых в эпоху застоя¹⁰.

Приведенный выше анализ современного состояния русского языка позволяет определить временные рамки нового направления в лингвистической науке с 90-х годов XX века, прежде всего в связи с коренными геополитическими изменениями на карте мира, т. е. возникновением целого ряда новых государств. Что касается периода “со второй половины 80-х годов”, получившего в публицистике тех лет наименование “горбачевской перестройки”, выделяемого Е. А. Земской, то речь идет о соответствующем эпохе “языке перестройки”, действительно очень ярком и бурно развивающемся. Однако этот период был очень коротким как для политических изменений, так и для развития языка, хотя по сей день в современных СМИ функционируют устойчивые сочетания **прорабы перестройки**¹¹ и **человеческий фактор**¹², зафиксированные в словарных материалах В. М. Мокиенко.

Наиболее ярким подтверждением последнего постулата Л. П. Попко является тот факт, что **неология** как формирующаяся научная отрасль до сих пор не имеет обобщающего наименования: в одних научных работах мы встречаемся с термином **неология**, в других – **неологика**. Так, В. М. Мокиенко первый раздел во вступительной статье к своим словарным материалам “Новая русская фразеология” называет “Фразеологическая **неология** как лингвистическое явление”¹³. На этой же странице буквально в первом абзаце читаем: “Нацеленность на описание собственно новых процессов и явлений, характеризующих славянские фразеологические системы сегодня, делает такое исследование заманчивым своей сосредоточенностью **на неологике** как достаточно широком пространственном и временном явлении, возможностью хронологически, тематически и функционально очертить и оценить это новое на всем пространстве”¹⁴. Далее термин **неологика** В. М. Мокиенко использует на протяжении 22-х страниц своего исследования, и только на 23-й странице обращается к термину **неология**: “Константно актуальной является постоянная фиксация и как можно более полное лексикографическое описание ФЕ-неологизмов. На наших глазах потребность в таком описании рождает особую область **неологии** – **неографию**, т. е. «лексикографическое моделирование языковых инноваций, неологическую лексикографию»”¹⁵. Давая это лапидарное и точное определение **неографии** и рассматривая неологизм в координатах времени и пространства, известный харьковский лексикограф В. В. Дубичинский констатирует, что “понятие неологизма – хронологическая условность” и представляет процесс неологизации как постоянное циклическое движение от архаизации лексем до их актуализации (“возрождения” или переориентации)¹⁶. Такое понимание **неографии** оправданно переносится и на фразеологию¹⁷. Поскольку на следующих страницах статьи используется исключительно термин **неологика**, создается впечатление, что **неология** появилась исключительно для оправдания **неографии** как термина, обозначающего словарную фиксацию различных типов неологизмов (все-таки для неискушенного в терминологических тонкостях начинающего исследователя **неологика** – это “новая логика”, а **неографика** – это “новая графика”, особенно, если эти термины воспринимаются на слух).

Как указано в статье украинского исследователя Т. С. Пристайко¹⁸, С. И. Алаторцева отмечает у термина **неология** два значения: 1) наука о неологизмах; 2) совокупность неологизмов¹⁹. В соответствии с этими двумя значениями Е. В. Маринова дает такое определение **неологии**: “В настоящее время **неологией** (реже **неологистикой**) называют относительно молодую в языкознании отрасль, которая изучает ... неологизмы. Совокупность неологизмов называется **неологикой**, или **неологической лексикой**”²⁰. Показательно, что при рассмотрении интересующих нас терминов речь в данном определении касается исключительно **лексики**. Далее Т. С. Пристайко отмечает: “Причины такого использования терминов **неология** и **неологика** кроются, на наш взгляд, в традиции русского языкознания обозначать одним словом и науку, и объект науки – совокупность языковых единиц (случай так называемой категориальной многозначности), ср.: **фразеология**. С другой же стороны, на дифференциацию этих терминов оказывает несомненное влияние существование терминов **перифразистика** (совокупность перифраз), **идиоматика** (совокупность идиом), а также соотношение **лексикология** (наука) – **лексика** (совокупность слов). Думается, что со временем такое соотношение укрепится и в паре **неология** – **неологика**”²¹. Однако все вышеизложенное касается, с нашей точки зрения, исключительно **лексики**. Так, в качестве примера термина, обозначающего одним словом и науку, и объект науки, фигурирует **фразеология**, хотя объектом науки **фразеологии** являются **фразеологические единицы** (**фразеологические обороты**, **фразеологизмы**). Что касается термина **идиоматика** (совокупность идиом), то, обозначая одно из направлений общей науки **фразеологии** (сюда, очевидно, следует добавить еще и термин **крылатика** (совокупность крылатых выражений, оформленных по моделям словосочетаний и предложений), также обозначающий одно из направлений общей науки **фразеологии**), то они не исчерпывают всех фразеологических направлений, в особенности, если рассматривать понятие **фразеология** в широком смысле этого термина.

Показательно, что и словарная дефиниция понятия **инновация** также напрямую не касается собственно **фразеологических единиц**: “**ИННОВАЦИЯ** [англ. innovation] нововведение, например,

в языкознании – новое явление (новообразование) в языке, главным образом в области морфологии, возникшее в данном языке в более позднюю эпоху его развития”²². Т. С. Пристайко отмечает, что под родовое понятие *инновация* подводится целый арсенал видовых понятий, обозначаемых терминами *неологизм, новообразование, окказионализм, потенциальное слово, индивидуально-авторское слово*. При этом *неологизмы* (определяемые как инновации, соответствующие норме, зафиксированные словарями новых слов и характеризующиеся частотным употреблением в речи) и *новообразования* (новые слова, созданные по старым моделям) противопоставляются *окказионализмам* (инновациям, принадлежащим речи и нарушающим словообразовательную норму) и *потенциальным словам* как единицы языка и речи²³. Справедливости ради приведем еще одно определение, в котором хотя бы упоминаются *сочетания* (без указания на их “фразеологичность” или хотя бы устойчивость): “Новым в литературном языке определенного периода признаются слова, значения и сочетания, представляющие собой как новообразования данного периода, так и внешние и внутренние заимствования в нем, а также слова и сочетания, ставшие актуальными в указанный период”²⁴.

В этой связи следует отметить, что все рассматриваемые нами термины не имеют прямого отношения к фразеологическим инновациям, поскольку пока, во всяком случае, даже гипотетически не возникают термины *неофразеологика* и *неофразеографика*. Очевидно, данное направление в лингвистической науке следует именовать *неологией*, составной и неотъемлемой частью которой является *неофразеология*.

¹ Попко Л. П. Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности: Монография. – К., 2007. – С. 118–119. ² Попко Л. П. Указ. соч. – С. 128. ³ Попко Л. П. Указ. соч. – С. 120. ⁴ Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 1984. – С. 349. ⁵ Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Караулова Ю. Н. – М., 1997. – С. 262–263. ⁶ Пристайко Т. С. О метаязыке современной неологии // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: Материалы IV Международной научной конференции (Днепропетровск, 9–10 апреля 2009 г.). – Днепропетровск, 2009. – С. 44. ⁷ Мокиенко В. М. Новая русская фразеология. – Ополе, 2003. – С. XI. ⁸ Мокиенко В. М. Указ. соч. – С. XVII–XVIII. ⁹ Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – М., 1996. – С. 11. ¹⁰ Русский язык конца XX столетия... – С. 21. ¹¹ Мокиенко В. М. Указ. соч. – С. 87. ¹² Мокиенко В. М. Указ. соч. – С. 130. ¹³ Мокиенко В. М. Указ. соч. – С. VII. ¹⁴ Там же. ¹⁵ Мокиенко В. М. Указ. соч.; Дубичинский В. В., Самойлов А. Н. Словари русского языка: Учебное пособие. – Харьков, 2000. – С. 120. ¹⁶ Дубичинский В. В. Основные принципы неографии // “Slowa, slowa, slowa”... w komunikacji językowej / Pod red. Marceliny Grabskiej. – Gdansk, 2000. – С. 61–68. ¹⁷ Мокиенко В. М. Указ. соч. – С. XXIII. ¹⁸ Пристайко Т. С. Указ. соч. – С. 40. ¹⁹ Алаторцева С. И. Проблемы неологии и русская неография: автореф. дис. ... доктора филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык». – Санкт-Петербург, 1999. – С. 10. ²⁰ Маринова Е. В. Основные понятия и термины неологии // Языки профессиональной коммуникации: Материалы международной научной конференции. Челябинск, 21–22 октября 2003 г. – Челябинск, 2003. – С. 243. ²¹ Пристайко Т. С. Указ. соч. – С. 41. ²² Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Минск, 2006. – С. 343. ²³ Пристайко Т. С. Указ. соч. – С. 42. ²⁴ Алаторцева С. И. Указ. соч. – С. 16.

СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

*Е. Н. Сидоренко (Симферополь)*ЯЗЫКОВЫЕ СМЫСЛЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ТИПОЛОГИЯ, СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ

На рубеже веков и – тем более – тысячелетий, как правило, подвергается критическому пересмотру всё, что было сделано ранее. Не избежала этого и наука о языке.

В конце XX века активно развивались такие разделы лингвистики, как семантика, прагматика, когнитология и др. Но достигнутые успехи не могли снять тревогу учёных о будущем языкознания, что получило отражение в ряде заголовков статей, например: “Куда ж нам плыть?” (Р. М. Фрумкина), “«Камо грядеши?» (О возможных путях развития российской лингвистики)” (Ю. Л. Воротников) и др. Для тревоги, по нашему мнению, остаются достаточные основания. На десятки лет из числа актуальных проблем были исключены вопросы морфологии, синтаксиса, истории языка, его философское осмысление. Лингвистика стала в значительной мере описательной, а не объяснительной. Поэтому неизбежными стали поиски новых идей. Одним из интересных направлений современной русистики признана теория языковых смыслов, предложенная Н. Ю. Шведовой, активно пропагандируемая в работах Ю. Л. Воротникова и др. лингвистов. Эта теория ведёт свою историю от древнегреческих философов, и прежде всего – от Аристотеля, выделившего в «Главе четвёртой» трактата «Категории» 10 категорий: 1) сущность, 2) количество, 3) качество, 4) отношение, 5) место, 6) время, 7) положение, 8) обладание, 9) действие, 10) претерпевание¹.

В средние века эта идея возродилась во “Всеобщей и рациональной грамматике Пор-Рояля” А. Арно и К. Лансло (1660 г.). В ней делалась попытка доказать, что структура языка имеет логическую основу, которая вариативно представлена в разных языках. В каждом языке логическая структура наполняется конкретным речевым содержанием.

Позже эта идея развивалась в работах В. Гумбольдта, О. Есперсена, И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнельсона, А. Вежбицкой, А. В. Бондарко, Ю. Д. Апресяна, И. А. Мельчука, Е. С. Кубряковой, Н. Ю. Шведовой, Ю. Л. Воротникова и др.

В наиболее концентрированном виде теория языковых смыслов была рассмотрена в двух работах Н. Ю. Шведовой: “Система местоимений как исход смыслового строения языка и его смысловых категорий” (1995 г., совместно с А. С. Белоусовой) и “Местоимение и смысл: Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства” (1998 г.). Автор очертила контуры теории языковых смыслов; кратко охарактеризовала историю появления теории языковых смыслов; предложила дефиницию языкового смысла; выделила важнейший дифференциальный признак языкового смысла – местоименный категоризатор.

К сожалению, Наталья Юльевна не успела углубить отдельные положения. Границы теории языковых смыслов нуждаются в уточнении, отдельные положения – в дополнительной аргументации; совершенно не представлена типология средств выражения языковых смыслов. Поэтому работа в этом направлении должна быть продолжена. Учёным предстоит определить место теории языковых смыслов в системе разделов языкознания, представить её методологические основы, назвать и охарактеризовать основные языковые смыслы и ономаσιологические средства их выражения.

Нами впервые предложена система ономаσιологических единиц, обслуживающих языковые смыслы; определён объём вербального оснащения каждого из них и высказаны предположения о конкурентоспособности единиц именования при выражении того или иного языкового смысла; названы дифференциальные признаки языковых смыслов и уточнены объём и содержание одного из важнейших из них – местоимений – как категоризаторов языковых смыслов.

Языковой смысл: дефиниция, количественный состав. Н. Ю. Шведова даёт следующее определение языкового смысла: “Это самое общее понятие, первично обозначенное местоименным исходом ... и материализуемое при помощи таких языковых единиц, семантика (языковое

значение) которых включает в себя соответствующее понятие и объединяет все эти единицы в некое семантическое множество”². В нашем понимании языковой смысл – это самое общее, универсальное понятие, выраженное системой разноуровневых ономастических единиц, объединённых в семантическое целое, и категоризируемое одним или несколькими вопросительными местоимениями (в случае их отсутствия – соответствующими функциональными заменителями – лексиями). Его можно представить как своеобразный гипероним, не способный выступать гипонимом. Например, языковой смысл “предметность” может иметь гипонимы “одушевлённый предмет” и “неодушевлённый предмет”. В свою очередь, одушевлённый предмет включает гипонимы “человек” и “животное”; каждый из них делится на следующие подразряды. Такое деление иерархично: на более низкой ступени возможно последующее, более детальное разбиение объектов до самого минимального.

Поиск языкового смысла ведётся путём объединения значения именованного в самую крупную семантическую общность. Основываясь на сказанном, в составе нашей рабочей классификации мы выделяем следующие языковые смыслы: 1) предметность, 2) признак предмета, 3) количество и число, 4) процесс, 5) качественную характеристику процесса, признака; способ и образ действия, 6) меру и степень, 7) место и направление (пространство), 8) время, 9) причину и следствие, 10) цель, 11) условие, 12) уступку, 13) состояние³. Н. Ю. Шведова не называет это количество конкретно, но отсылает читателя к таблице №1 [Шведова Н. Ю., Белоусова А. С. Система местоимений как исход смыслового строения языка и его смысловых категорий (1995 г.), вклейка между страницами 10–11], в которой представлено 20 рубрик, заполненных вопросительными местоимениями, “указующими на глобальные понятия бытия”, причём в четырёх из них дано по два местоимения: 1) *насколько, сколь*, 2) *откуда, отколе*; 3) *делать / сделать*; 4) *делаться / сделаться*. На этом основании Ю. Л. Воротников приводит цифру 24: “При сравнении системы логических категорий Аристотеля и 24 категорий у Н. Ю. Шведовой бросается в глаза факт гораздо большей дробности второй системы: 10 категорий у Аристотеля и 24 категории у Н. Ю. Шведовой”⁴. Ю. Л. Воротников считает, что такая детализация уместна и оправданна. С этим, по нашему мнению, нельзя согласиться, ибо выделение языковых смыслов в этом случае превращается по сути в выделение местоименных рядов. Раскроем это положение.

Одним из важнейших достижений в теории языковых смыслов мы считаем квалификацию местоимений как естественных категоризаторов этих смыслов, специально предназначенных для обозначения таких глобальных понятий физического и ментального мира, как предметность, признак предмета, действие, состояние, место, время и т. д.⁵. Правда, предлагая эту точку зрения, Н. Ю. Шведова не указала, выступают ли в этой роли только вопросительные прономинативы или местоимения всех семантических разрядов, то есть указательные, неопределённые, отрицательные и т. д.; поэтому представляется необходимым уточнение соответствующих сведений.

Вопросительные местоимения структурируют всю “ответную” (термин А. Х. Востокова) прономинальную лексику, распределяясь “поперечно” всем знаменательным частям речи, кроме глаголов, не имеющих соответствующих однословных прономинативов. Местоимения представляют собой совмещение 1) **категориального значения**, одинакового с именами существительными (предметность), именами прилагательными (признак предмета), числительными (количество и число), наречиями (признак признака), безлично-предикативными словами (состояние и его оценка), и 2) **разрядового значения** вопроса, указания, неопределённости, обобщения с выделением, отрицания. На этом основании нами было сформулировано понятие о местоименном ряде: местоименный ряд представляет собой совокупность прономинативов разных семантических разрядов, объединённых общей денотативной основой, с условным началом, выраженным вопросительным прономинативом. Например, местоименный ряд с условным началом *что* включает в себя следующие прономинативы: вопросительный *что?* и “ответные формы”: *то, это, ничто, что-то, что-либо, что-нибудь, нечто, кое-что, всякое, всё, иное, любое, другое*. В случае отсутствия нужного местоимения используются особого рода сочетания – **функциональные заменители**, названные нами в более поздних работах **лексиями**. Была выдвинута следующая гипотеза: “... сформировавшиеся категории объективной действительности, получившие отражение в синтаксических категориях, должны иметь свой собственный местоименный ряд, состоящий из местоимений разных семантических разрядов и их функциональных заменителей. Другими словами, наличие собственного местоименного ряда и ряда функциональных заменителей является ярким свидетельством того, что данная синтаксическая функция в языке сформировалась”⁶.

Уровень развития лингвистики в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия ещё не давал возможности перейти от “сформировавшихся категорий объективной действительности” к языковым смыслам, но сам материал объективно подтверждает правильность идеи, высказанной в конце 90-х годов Н. Ю. Шведовой о местоимениях – категоризаторах языковых смыслов. Более того, теория языковых смыслов теснейшим образом связана с синтаксисом, функциональной нагрузкой слова в

предложении. Поскольку речевые смыслы реализованы в речевом потоке, они аккумулируют в себе самые общие **синтаксические смыслы**. Проблема взаимосвязи языкового смысла и его реализации на синтаксическом уровне пока не имеет решения. На наш взгляд, в настоящее время актуальными остаются следующие вопросы: как языковые смыслы “сегментируют” действительность и отражают категории мышления? Как синтаксис “сотрудничает” с семантикой рассматриваемых единиц и какое проявление находит в категориальном значении языковых смыслов? Эти вопросы чрезвычайно важны, так как слово исторически оформилось в часть речи в предложении, поэтому его функционирование в определённой степени направляется диахронией. Одновременно его участие в выражении того или иного языкового смысла зависит от синтаксического оформления, окружения, то есть определяется синхронией. Соотношение синхронии и диахронии в категориальном значении языковых смыслов уходит в проблему соотношения категорий языка и мышления и представляется чрезвычайно важным. С опорой на полученные знания могут быть рассмотрены не только слова, выраженные знаменательными частями речи, но и появившиеся в более поздний период расчленённые единицы именования (лексии; предложно-падежные сочетания; словосочетания особого типа, эквивалентные слову; фразовые номинанты).

В качестве языковых категоризаторов следует, по нашему мнению, рассматривать **вопросительные** местоимения, аккумулирующие в себе информационную энергетику ответных местоимений и всех средств, выражающих данный языковой смысл. Поэтому в наиболее чистом виде они выражают семантику языкового смысла. Местоимения других семантических разрядов получают дополнительную семантику неопределённости, указания, отрицания, обобщения с выделением, которая “размывает” значение, затрудняет его выделение. При этом каждому языковому смыслу не обязательно соответствует один категоризатор, их может быть несколько. Так, языковой смысл “предметность” категоризируется двумя вопросительными местоимениями (*кто?* и *что?*), пространство (место и время) – тремя (*где?*, *куда?*, *откуда?*) и т. д. У категории уступки отсутствует вопросительный однословный местоименный категоризатор и “ответные” прономинативы остальных семантических разрядов, то есть этот языковой смысл не выражен на уровне словных ономаσιологических единиц (в русском языке нет наречий уступки). Особый характер выражения в системе ономаσιологических единиц имеет также языковой смысл “процесс”.

Языковые смыслы представлены системой ономаσιологических средств и в случае отсутствия вопросительного местоименного конкретизатора (и всего местоименного ряда) выражаются расчленёнными единицами именования. Объясняется это тем, что языковые смыслы формируются прежде всего на уровне синтаксиса (словосочетаний и придаточных предикативных частей сложноподчинённых предложений) и только по мере “созревания” языкового смысла переходят на морфологический уровень (вырабатывают соответствующие наречия и ... вопросительные местоимения). Поэтому вопросительные местоимения, будучи условным началом местоименного ряда и категоризатором языкового смысла, на самом деле представляют собой не “исход”, как утверждает Н. Ю. Шведова, а являются свидетельством того, что данная смысловая категория осознана человеком и вербализована в языке расчленёнными единицами именования. Это положение хорошо подтверждают следующие слова В. В. Виноградова: “Нет ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике. История морфологических элементов и категорий – это история смещения синтаксических границ, история превращения синтаксических пород в морфологические. Это смещение непрерывно. Морфологические категории неразрывно связаны с синтаксическими. В морфологических категориях происходят постоянные изменения соотношений, и импульсы, толчки к этим преобразованиям, идут от синтаксиса”⁷.

Дифференциальными признаками языковых смыслов, по нашему мнению, являются следующие: 1) именование определённого фрагмента действительности, понятие о котором сформировалось у носителей языка; 2) ономаσιологический характер представления определённого понятийного содержания, рассмотрение его в направлении от значения к средствам выражения; 3) наличие у каждого языкового смысла собственного, индивидуального категориального (обобщённого семантико-функционального) значения; 4) возможность использования вопросительного местоимения (или его функционального заменителя) как категоризатора языкового смысла; 5) наличие у каждого языкового смысла комплекса языковых средств его выражения, в число которых входит слово; предложно-падежная форма; словосочетание особого типа, эквивалентное по значению слову; лексия; фразовый номинант; 6) универсальный характер представления в разных языках, всеобщность, полнота отображения.

Некоторые лингвисты считают важными признаками языкового смысла глобальность и тотальность, но в силу политизации и проявившегося в последние годы негативного оттенка в их значениях употребление названных терминов нельзя признать удачным.

Ономасиологические средства выражения языковых смыслов. Чрезвычайно важным вопросом теории языковых смыслов является проблема качественного и количественного состава единиц именования, выражающих эти смыслы. Выявление типологии ономасиологических единиц, их содержания определяет сущность лингвистического подхода к именованию. В русском языке мы выделяем 5 типов ономасиологических единиц, выражающих языковые смыслы: 1) слово; 2) предложно-падежную форму; 3) словосочетание особого типа, семантически эквивалентное слову; 4) лексику (“составное слово”); 5) фразовый номинант, выраженный придаточной частью сложно-подчинённого предложения с синтаксическим артиклем или без него. Слово можно назвать синтетической ономасиологической единицей; остальные ономасиологические единицы – расчленёнными. Кратко охарактеризуем каждую единицу именования.

Слово является основной единицей именования. Оно наличествует в каждом языке, являясь одной из самых ярких универсалий. Не случайно поэтому слово оказалось в центре внимания лингвистов; оно изучается в лексике, словообразовании, морфологии и даже синтаксисе. В связи с этим современную лингвистику вполне справедливо называют словоцентристской.

Абсолютное большинство знаменательных слов русского языка изменяется, имеет числовую, падежную, родовую парадигму, категории лица, числа, времени и т. д. Для исследователя важно определить подходы к слову как ономасиологической единице. Представляя его как единицу именования, лингвисты рассматривают его прежде всего как “словарное слово”, то есть слово, выступающее в толковых словарях в качестве заголовочного в соответствующих словарных статьях. При этом изменяемое слово должно находиться в начальной форме (для имени существительного и категориально и грамматически соотносительного с ним местоимения это именительный падеж единственного числа, для глагола – инфинитив и т. д.). В то же время, как для изменяемого, так и для неизменяемого слова очень важным является употребление его в роли морфологизованного члена предложения – закреплённой за ним первичной функции, когда категориальное значение слова совпадает с категориальным значением языкового смысла. Морфологизованными членами предложения для имени существительного являются подлежащее и дополнение, для имени прилагательного – согласованное определение, спрягаемых форм глагола – сказуемое, наречия – обстоятельство, безлично-предикативного слова – главный член односоставного безличного предложения. Необходимость использования термина “морфологизованный член предложения” возникла в связи с тем, что именно в этом случае знаменательное слово выполняет предназначенную ему роль основного выразителя того или иного языкового смысла. При использовании его во вторичной функции вместе с синтаксическим происходит семантический сдвиг и слово передвигается в другой языковой смысл, на его окраину, помогая выразить его в качестве функционального заместителя отсутствующей в данном языке ономасиологической единицы или – при наличии таковой – выступая в качестве синонимичной ей, например, в сочетании *портфель брата* второе существительное выражает не предметность, а признак предмета, заменяя менее употребительное или по каким-либо причинам менее желательное использование притяжательного прилагательного *братова*. Другими словами: имена существительные используются в качестве основной части речи для выражения языкового смысла “предметность”, но они могут быть использованы (реже – в словарной форме, чаще – в составе некоторых ономасиологических единиц, например, предложно-падежных сочетаний) для оформления других языковых смыслов: пространства, времени, причины, цели и др. В современном русском языке слово как единица именования может выражать разные смыслы. Назовём основные из них.

1. **Предметность** выражают имена существительные и местоимения, категориально и грамматически соотносительные с ними, в форме именительного и косвенного падежей при условии выполнения ими функций подлежащего и дополнения. Они могут называть объект – адресат речи (*написал товарищу*), часть целого (*купишь молока и ещё чего-нибудь*), инструмент действия (*машет платком, чем-нибудь*), содержание речи, мысли (*обсуждали диссертацию, её*) и т. д.

2. Языковой смысл **признак предмета** передаётся системой словных ономасиологических единиц: а) качественными, относительными, притяжательными, порядковыми прилагательными, а также местоимениями, категориально и грамматически соотносительными с ними (*высокий, наш дом, второй этаж*); б) причастиями (*работающий трактор*), в) именами существительными в родительном падеже “принадлежности” (*платье дочери*), г) наречиями (*рубашка навывпуск*).

3. **Количество** и **число** выражаются количественными числительными, некоторыми собирательными числительными и прономинативами местоименного ряда *-сколько-* (*девятью томов, столько книг, из лесу вышли трое* и т. д.).

4. Языковой смысл **качество, образ и способ осуществления процесса** представлен преимущественно наречиями и соответствующими местоимениями (*весело, верхом, по-русски, как,*

так, никак и под.), а также именами существительными в творительном падеже (*добираться в^{плавь}, лететь самолётом* и т. п.).

5. Языковой смысл *мера* и *степень* выражается на словном уровне только небольшой группой наречий и прономинативами местоименного ряда *-насколько-* (*очень, настолько* и под.).

6. *Пространство* передаётся наречиями и местоимениями со значением места и направления (*вперед, вперёд, здесь, туда* и под.).

7. Языковой смысл *время* выражается на словном уровне наречиями и местоимениями с локальным значением (*сегодня, тогда* и др.).

8. Для выражения *причины* и *следствия* используются соответствующие наречия и категориально соотносительные с ними местоимения (*сгоряча, поэтому* и др.).

9. Примерно такое же количество наречий служит для называния *цели* (*нарочно, преднамеренно* и др.); по значению с ними коррелируют прономинативы местоименного ряда с условным началом *зачем?* Этот же языковой смысл на словном уровне может быть выражен инфинитивом (*приехал учиться*).

10. Языковой смысл *условие* на словном уровне выражен только местоимениями *когда? = при каком условии?, тогда = при таком условии*. Они омонимичны вопросительному прономинативу *когда? = в какое время?* и указательному *тогда = в то (такое) время*. Соответствующие наречия в современном русском языке отсутствуют.

11. Языковой смысл *уступка* представлен расчленёнными ономасиологическими единицами; наречия и местоимения с подобным значением в русском языке не сформировались.

12. Языковой смысл *процесс* (или действие, состояние и отношение как процесс) на словном уровне передают спрягаемые глаголы при полном отсутствии соответствующих однословных местоимений или каких-либо других частей речи.

13. В современном русском языке сформировался лексико-грамматический класс слов, названный В. В. Виноградовым “словами категории состояния” (в современной терминологии известный более как “безлично-предикативные слова”). Большая часть этих слов выражает языковой смысл *состояние* (*ему грустно, на улице ветрено*). Этот языковой смысл передаётся также вопросительным местоимением *каково?* и указательным *таково*.

Сказанное позволяет утверждать, что знаменательные части речи “закреплены” за определёнными языковыми смыслами, но, вместе с тем, знаменательное слово может в зависимости от синтаксической нагрузки “уходить” в другой языковой смысл. Вопрос о причинах, законах и границах такого “ухода”, к сожалению, не был поставлен в лингвистической литературе и поэтому не имеет ответа, но он безусловно актуален и нуждается в обстоятельном и глубоком изучении.

Кроме слова в качестве средства именования выступают единицы, структурно более усложнённые по сравнению со словом, но выражающие разные языковые смыслы. К их числу мы относим предложно-падежную форму, лексику, словосочетание особого типа, эквивалентное по семантике слову; фразовый номинант. Кратко охарактеризуем каждый тип расчленённых ономасиологических единиц.

Предложно-падежные формы представляют собой одно из самых распространённых средств выражения языковых смыслов. Исторически сложившаяся система подобных средств позволяет в большинстве случаев определять характер выражаемых смысловых отношений без использования широкого контекста; например, носители языка без труда определяют отношения, выражаемые в предложно-падежных формах *в понедельник, через неделю* (временные), *на экскурсию, в Крым* (пространственные), *из-за дождя, благодаря друзьям* (причинные) и т. д. Это дало основание Е. Куриловичу рассматривать предложно-падежную форму имени как слово, в котором предлог выполняет роль морфемы⁸. В. М. Русановский называет “сочетаниями грамматических лексем с аналитическими морфемами”⁹, а И. Р. Выхованец называет предлоги в таких сочетаниях “аналитическими синтаксическими морфемами”¹⁰.

Понимание предложно-падежной формы как носителя элементарного смысла возникло тогда, когда синтаксисты обратились к семантике. В 1980 году Г. А. Золотова заменяет термин “синтаксическая форма слова” “синтаксемой”. В “Синтаксическом словаре” она пишет: “Синтаксемой названа минимальная, далее неделимая семантико-синтаксическая единица русского языка, выступающая одновременно как носитель элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных синтаксических конструкций, характеризующаяся, следовательно, определённым набором синтаксических функций”¹¹. Заслугой автора является, в частности, то, что объектом представления в словаре являются формы слов, которые поданы с учётом их лексического и синтаксического наполнения.

Развивая идею о предложно-падежной форме имени как синтаксически значимой единице, мы переводим её в плоскость теории языковых смыслов и рассматриваем как один из типов ономасиологических единиц – единиц именования. В нашем понимании предложно-падежная форма –

это семантически единое сочетание имени и предлога, предназначенное для выражения определённых языковых смыслов. Таким образом, предложно-падежная форма – это не только синтаксема, но и ономаσιологическая единица, способствующая дифференциации оттенков передаваемой мысли. Особенно активно она применяется для выражения языковых смыслов “пространство”, “время” и др.

Следующим типом расчленённых единиц именования можно назвать словосочетания, эквивалентные словным ономаσιологическим единицам, например: *житель Крыма = крымчанин, мостовая улица = мостовая, оказать содействие = содействовать*. В некоторых случаях эквивалент может отсутствовать, но сочетание слов должно передавать одно понятие: *железная дорога*.

В лингвистической литературе по отношению к рассматриваемому явлению используется большое количество терминов, синонимичных или смежных по содержанию: универбация, универбализация, семантическая конденсация, семантическая компрессия, сгущение, сжатие, включение, сокращение, эллиптизация, конкретизация, сорбция, синтаксическое сжатие и др.¹². Данные словосочетания в теории языковых смыслов представляют интерес с точки зрения их семантической энергетика, способности конкурировать со словными единицами именования.

Небольшой, но чрезвычайно интересной группой в системе ономаσιологических единиц, выражающих разные смыслы, выступают лексии. Их лексический и грамматический статус до настоящего времени не определён лингвистикой. Речь идёт о так называемых “составных словах” (по терминологии Русской грамматики–80, многих вузовских и школьных грамматик), “эквивалентах слов” (Р. П. Рогожникова), “аналитических словах–скрепах, функтивах” (Т. А. Колосова, М. И. Черемисина), “сращениях” (Т. П. Язовик) и т. д. Мы используем термин Б. Потье и называем их лексиями (хотя наше понимание этого термина несколько отличается от исходного). Лексии – это семантические эквиваленты слов, но структурно более усложнённые: они состоят из двух и более слов, например: *неведомо кто, по какой причине?, редко что, мало где, девяносто девять, всё равно, несмотря на то что, в связи с* и др. В системе знаменательной лексики лексии представлены сравнительно небольшим количеством единиц, преимущественно прономинальных. Их “бедность” в современном русском языке вполне объяснима смысловым и грамматическим богатством знаменательных слов, что обеспечивает возможность полно и точно выразить любую мысль с помощью имеющегося арсенала языковых средств. Гораздо большее развитие лексии получили в системе служебной лексики. К основным вопросам, касающимся проблемы лексий, можно, по нашему мнению, отнести следующие:

1. Можно ли считать словами сочетания нескольких (двух и более) звуковых комплексов, объединённых общей семантикой, грамматическим назначением, коммуникативной заданностью?

2. Являются ли данные единицы аналитическими словами? При утвердительном ответе – в чём специфика аналитизма подобных сочетаний?

3. Каковы критерии разграничения аналитических слов и аналитических членов предложения? Как соотносятся понятия “аналитическое слово” и “фразеологическая единица”?

К ономаσιологическим номинативным единицам расчленённого типа (полилексемным единицам) относятся также фразовые номинанты (по терминологии В. Н. Мигирова, Н. И. Пельтихиной, Г. Е. Бойченко и др.) или синтаксические номинанты (по терминологии М. В. Фёдоровой, А. А. Букова, З. Д. Поповой и др.), предикцирующая форма, выступающая в качестве компонента номинативного ряда (В. М. Никитевич и др.).

Проблема структурных типов номинации возникла в связи с выходом лингвистики за пределы изучения слова, то есть в связи с освобождением исследователя из плена словоцентризма. Но она в наибольшей степени связана с различием между языком и речью. Фразовый тип номинации остаётся в рамках речи, выражает её специфику, не регистрируется в словарях. Важнейшим качеством фразового номинанта является способность выражать референт с помощью конструкций, имеющих строение предикативной части сложного предложения, например: *Читай, что написал. Приедешь, когда завершишь работу*.

Фразовая номинация остаётся одной из важнейших и недостаточно изученных расчленённых ономаσιологических единиц. Она обладает большими возможностями именования по самым разнообразным стабильным и изменяющимся признакам и тем самым обеспечивает интересы коммуниканта.

Факты более чем тысячелетнего развития русского языка дают основание говорить об усложнении формы выражения мысли, что получило соответствующее отображение в средствах представления объективной действительности в языке, а позже вызвало необходимость рассматривать в лингвистике всю систему сложившихся ономаσιологических средств.

Заключение. Учитывая достижения предшественников, представленные преимущественно в семасиологическом аспекте, наука о языке более пятидесяти лет назад стала активно использовать ономаσιологический аспект исследования, направленный от значения к средствам его выражения.

Главной целью современной лингвистики является **выявление механизма работы языка**, а не только описание отдельных его единиц. В этом плане теория языковых смыслов выходит на передовые позиции в языкознании. В настоящее время можно говорить об осознании феномена языкового смысла, выделении его дифференциальных признаков, определении количественного состава языковых смыслов и репертуара ономазиологических средств, обслуживающих каждый из них.

Но надо помнить, что учёными сделаны лишь первые шаги в изучении теории языковых смыслов. Представлен каркас теории, который в процессе его заполнения поставит новые вопросы, потребует новых решений, и некоторые из них могут оказаться весьма неожиданными. В настоящее время совершенно неисследованной остаётся область выражения некоторых языковых смыслов в сложносочинённом, бессоюзном предложениях; неясно, следует ли считать причастные и деепричастные обороты единицами именования и рассматривать сочетания типа *день недели накануне среды = вторник* ономазиологическими словосочетаниями, и т. д. В то же время выполненные исследования дают основание прогнозировать дальнейшие интересные разыскания в системе языковых смыслов и средств их выражения.

¹ Аристотель. Сочинения: в четырёх томах. – Т. 2 / Ред. З. Н. Микеладзе. – М., 1978. – 887 с. ² Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. – М., 1998. – С. 32. ³ Сидоренко Е. Н. Языковые смыслы и ономазиологические средства их выражения: Монография. – Симферополь, 2008. – 126 с. ⁴ Воронников Ю. Л. Языковой смысл – “вещь ли это настоящая?” // X конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Русское слово в мировой культуре (СПб., 30 июня – 5 июля 2003 г.). Пленарные заседания: Сб. докладов. – Т. 1. – СПб., 2003. – С. 237. ⁵ Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. – М., 1998. – 176 с.; Шведова Н. Ю. Русский язык: Избранные работы. – М., 2005. – 640 с.; Шведова Н. Ю., Белоусова А. С. Система местоимений как исход смыслового строения языка и его смысловых категорий. – М., 1995. – 122 с. ⁶ Сидоренко Е. Н. Функциональные особенности вопросительных местоимений (в сравнении с функциональными особенностями морфологически соотносительных знаменательных частей речи): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ростов-на-Дону, 1972. – 24 с. ⁷ Виноградов В. В. Русский язык: (грамматическое учение о слове). – Изд. 2-е. – М., 1972. – С. 31. ⁸ Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962. – 252 с. ⁹ Русанівський В. М. Поняття семантичного і стилістичного інваріанта // Мовознавство. – 1981. – №3. – С. 15. ¹⁰ Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. – К., 1980. – С. 14. ¹¹ Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. – М., 1988. – 440 с. ¹² Подробнее см. об этом: Устименко И. А. Вопрос о сущности явления семантической конденсации // Лексическая и грамматическая семантика. – Белгород, 1988. – С. 136–141; Смирнова А. Э. Сорбция как активный способ словообразования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Минск, 2000. – 17 с.

Рґснстнка

Вып. 11

Київ – 2011

Е. Я. Титаренко (Симферополь)

ТЕОРИЯ ФАЗОВОЙ ПАРАДИГМАТИКИ РУССКОГО ГЛАГОЛА

Аспектология располагает богатой историей изучения и описания видовых пар русских глаголов, однако в современной литературе предложены и другие модели видового противопоставления, такие как, например, видовые гнезда, приставочные парадигмы и т. д. Целью нашего исследования является разработка теории фазовой парадигматики, изучение и описание фазовых парадигм русских глаголов. В основе данной теории лежит описанная О. М. Соколовым¹ лексико-грамматическая категория фазовости глагольного процесса.

Теория фазовой парадигматики разрабатывается автором в течение последних десятилетий, основные положения прошли апробацию в виде докладов на научных конференциях различного уровня, включая международные конгрессы, и изложены в соответствующих публикациях², результаты исследования реализуются в практике преподавания русского языка как иностранного при обучении употреблению видов русского глагола и в словаре фазовых парадигм³, работа над которым продолжается.

В задачи статьи входит изложение основных положений теории фазовой парадигматики русских глаголов, определение фазовой парадигмы и ее отличий от словообразовательной, приставочной парадигмы, словообразовательного и видового гнезда глагола, описание специфики фазовости отдельных групп глаголов.

Еще С. И. Карцевский отмечал, что “рядом с основным глаголом *играть* возникают следующие приставочные глаголы совершенного вида: *взыграть*, *выиграть*, *доиграть*, *заиграть* (начинательный глагол), *заиграть* (испортить частой игрой), *наиграть* (получить большой выигрыш в игре), *обыграть*,

отыграть, переиграть, подыграть, поиграть (аттенуативный), *поиграть* (играть в течение некоторого времени), *разыграть, проиграть, сыграть* (окончательный) и т. д.”⁴. Нетрудно заметить, что все эти “новые глаголы” (как их охарактеризовал С. И. Карцевский) выражают, помимо своих основных семантических “добавок”, и фазовые пределы. В некоторых случаях фазовость является главной семантической добавкой (как *заиграть, доиграть* или *отыграть*), в других – сопутствующей значению результативности (*сыграть, проиграть* и др.), но все эти глаголы входят в фазовую парадигму глагола *играть*.

Фазовая парадигма представляет собой особого рода словообразовательное гнездо, в которое включаются глаголы, находящиеся в отношениях прямой мотивации, причем глаголы (за редким исключением) противоположного вида. Фазовая парадигма не совпадает с приставочной парадигмой глагола, однако утверждение М. А. Кронгауза⁵ о том, что сочетаемость с приставками является важным и интересным языковым свидетельством о семантике глагола, а анализ приставочных парадигм дает основания для семантической классификации бесприставочных глаголов, поскольку семантически близкие глаголы имеют сходные приставочные парадигмы, справедлива и по отношению к фазовым парадигмам, исследование которых чрезвычайно полезно для системного изучения и описания русских глаголов.

Е. Р. Добрушина и Д. Пайар называют приставочной парадигмой “систему, объединяющую все значения во всех возможных контекстах всех существующих глаголов с общей бесприставочной глагольной основой, но с разными приставками или вовсе без приставки, с постфиксом -СЯ”⁶. Так, в приставочную парадигму глагола *брать* авторы включают 45 лексических единиц, таких как *браться, пробрать, пробраться, выбрать, выбраться* и т. д. В фазовую парадигму глагола *брать* входит максимум 22 глагола; формы с -ся (залоговые) не включаются, как не выражающие фазовых отношений с исходным словом, зато входит супплетивная видовая пара *взять*, многократный *бирать* и суффиксально-префиксальный *побираться*. Полнозначный глагол *браться* имеет собственную видовую пару и фазовую парадигму, он не вступает в фазовые отношения со своим мотиватором, потому что одного с ним вида (несовершенного [далее – НСВ]).

От словообразовательной фазовая парадигма отличается тем, что представляет собой не “совокупность всех производных одного производящего”⁷, а совокупность производных глаголов противоположного вида, мотивированных исходным глаголом. Словообразовательная парадигма того же глагола *брать* весьма велика, в нее входит свыше 400 слов разных частей речи⁸. Фазовая парадигма данного глагола насчитывает, как уже было сказано, всего 22 лексемы, а именно: *брать – взять, бирать, вобрать, выбрать, добрать, забрать, недобрать, избрать, набрать, обрать, обобрать, отобрать, перебрать, побрать, подобрать, прибрать, пробрать, разобрать, собрать, убрать и побираться*. Глаголы одного (несовершенного) вида включаются в фазовую парадигму в строго определенных случаях, о чем будет сказано ниже.

Фазовую парадигму имеют глаголы обоих видов. У глаголов совершенного вида [далее – СВ] в большинстве случаев это минимальная парадигма, включающая только два слова (как правило, это парный глагол НСВ), например: *подписывать → подписать; писать → написать*. Даже если исходным является первичный беспрефиксный глагол СВ типа *дать, насть, забыть* и т. п., его фазовая парадигма (в отличие от словообразовательной глагольной приставочной) двучленна: *давать → дать; забывать → забыть; падать → насть*. От глагола *дать*, например, с помощью префиксов образуется 15 новых глаголов, но все они того же СВ. Однако реляционный фазовый предел (согласно теории фазовой членимости глагольного процесса О. М. Соколова) проявляется в контексте при сопоставлении глаголов разных видов, находящихся в отношениях прямой мотивации, при этом НСВ называет процесс, потенциально способный к фазисной членимости, а СВ – реализованную фазу данного процесса. Таким образом, между глаголами СВ и НСВ складываются строго определенные, иерархические отношения фазовости, которые можно обозначить стрелками и выстроить в виде фазовых цепей: *зацветать → зацвести → цвести → (поцвести) → отцвести; замолчать → молчать → смолчать (промолчать, намолчаться и т. п.)*. В общей сложности выделяется три типа фазовых отношений: начало → процесс (*полюбить → любить*); процесс → конец процесса (совпадающий или не совпадающий с результатом, внутренним или внешним пределом и т. п.) (*переписывать → переписать*); однократный процесс – повторяющийся процесс (*шагать / шагнуть; обещать (НСВ) / обещать (СВ) и пообещать*). Разновидностью процессно-завершительных отношений являются отношения ограниченности, когда процесс прерван или ограничен временными рамками (внешним пределом): *читать → почитать; ходить → проходить (весь день); молчать → помолчать (какое-то время)*. Начинательно-процессные и процессно-завершительные отношения являются однонаправленными, а однократно-многократные – двунаправленными.

У первичных глаголов НСВ фазовые парадигмы обычно многочисленны, многие вторичные имперфективы имеют такие же минимальные двучленные фазовые парадигмы, как и глаголы СВ, например: *заинтересовывать* → *заинтересовать*. Таким образом, наиболее информативны и интересны для изучения фазовые парадигмы глаголов первичных глаголов НСВ.

Фазовая парадигма отличается и от словообразовательного гнезда, в которое входят все однокоренные слова, объединенные смысловой и материальной общностью, строго упорядоченные по принципу подчинения одних единиц другим (ступенчатая иерархия). Очень важными в словообразовательном гнезде являются семантические отношения, которые делятся на мотивационные и немотивационные. Как известно, мотивационными следует считать любые отношения однокоренных слов, если одно из них входит в семантику другого, если одно из них можно истолковать через другое, даже если они при этом не образуют словообразовательной пары, например, *красный* – *раскраснеться* (словообразовательные отношения: *красный* → *краснеть* → *раскраснеться*). Словообразовательные отношения всегда мотивационные, но не наоборот⁹. Однако наличие смысловой общности само по себе не обеспечивает тому или иному слову доступ в гнездо, так, например, не входят в одно гнездо глаголы *класть* и *положить*, *брать* и *взять*, а в фазовой парадигме они встречаются, поскольку составляют видовую пару.

В каждом словарном гнезде объединяются однокоренные слова разных частей речи, имеющие живые семантические связи, например, в гнезде глагола *варить* в “Словаре” А. Н. Тихонова 372 слова (4 ступени словообразования). В фазовой парадигме этого глагола – все глаголы противоположного вида (СВ) и 2 глагола НСВ, являющиеся производными на 1 ступени (всего 20 лексем): *варить*: *вварить*, *взварить*, *выварить*, *доварить*, *заварить*, *наварить*, *недоварить*, *обварить*, *отварить*, *переварить*, *поварить*, *подварить*, *приварить*, *проварить*, *разварить*, *сварить*, *уварить* и *варивать*, *поваривать*. Таким образом, в фазовой парадигме каждый член составляет словообразовательную пару и имеет мотивационные отношения с исходным глаголом (является мотиватом 1 ступени). От словообразовательной парадигмы, как уже было сказано, фазовая отличается тем, что в нее входят только глагольные дериваты и видовая пара (если есть), в том числе и супплетивная. Приставочные глагольные дериваты одного вида не выражают фазовых отношений и не включаются в парадигму, если только это не одно-многократные фазовые отношения, например: *владеть* – *совладеть* (НСВ) входят в словообразовательное гнездо, но не в фазовую парадигму. Сравним словообразовательную парадигму глагола *владеть* (*владение*, *владелец*, *владелец*, *завладеть*, *овладеть*, *отовладеть*, *совладеть*, *владать*), приставочную (*владеть* – *овладеть*, *завладеть*, *отовладеть*, *совладеть*) и фазовую (*завладеть*, *овладеть* → *владеть* → *отовладеть*, а также *повладеть*, *провладеть*).

Отношения единичности / повторяемости как универсальный вид фазовости могут складываться между глаголами одного (несовершенного) вида в следующих случаях: 1) если это глаголы одно- и разнонаправленного движения (*летать* – *лететь*, *нести* – *носить*); 2) с глаголами многократного способа действия [далее – СД] (*пить* – *пивать*, *сидеть* – *сиживать*); 3) прерывисто-смягчительного СД (*воровать* – *приворовывать*; *прыгать* – *попрыгивать*; *пить* – *попивать*); 4) если глаголы с суффиксом *-ива-/-ыва-/-ва-* разных СД образованы непосредственно от исходного беспрефиксного глагола (*ходить* – *прохаживаться*; *ходить* – *расхаживать*; *блестеть* – *отблескивать*; *лежать* – *отлеживаться*).

Глаголы в фазовой парадигме группируются вокруг исходного глагола в соответствии с направлениями фазовости, которые определяются для каждого конкретного значения (ЛСВ) этих глаголов. Линейное расположение глаголов в фазовой парадигме не отражает наглядно направления фазовости, поэтому мы предпочитаем следующую схему:



Здесь производные глаголы располагаются вокруг заголовочного слова в соответствии с направлениями фазовости, которые обозначены стрелками. Способы выражения фазово-видовых значений глаголов в русском языке и критерии определения фазовых отношений между глаголами (и их отдельными ЛСВ) в парадигме изложены автором ранее¹⁰.

Л. Янда предложила новую теоретическую модель описания аспектуальной системы русского глагола – модель видовых гнезд (Aspectual clusters of Russian verbs). Чем отличается фазовая парадигма от видового гнезда? Видовое гнездо – это группа глаголов, объединенных соотношениями на основе аспектуальной деривационной морфологии¹¹. В типичном гнезде находится глагол НСВ плюс разные типы перфективов, число которых варьируется обыкновенно от нуля до четырех. Выделяется 4 типа перфективов (естественные, специализированные, комплексные и однократные) и 3 метафоры, которые их мотивируют. Эти 5 компонентов (глагол НСВ + 4 перфектива) теоретически образуют 31 комбинацию, но реально в русском языке (по данным Л. Янды) встречаются только 12 типов гнезд. Естественные перфективы соответствуют традиционным видовым парам. Специализированные перфективы соответствуют “специально-результативным” глаголам способов действия (в традиционной аспектологической терминологии). Комплексные перфективы, как объясняет А. Макарова, образуются только от неопределенных глаголов и “не обозначают никакой завершенности, напротив, они указывают на границу какого-то действия, на смену ситуации, описывая ее начало, конец или продолжительность, например, *запрыгать, пропрыгать*”¹². Однократные перфективы в понимании Л. Янды и ее последователей тоже образуются только “от неопределенных глаголов и представляют один квант ситуации, которая представляет собой серию одинаковых действий, например, *чихнуть, прыгнуть*”¹³. В нашем (и традиционном) понимании такие глаголы СВ обычно называют одноактными, а соотносительные глаголы НСВ – многоактными. Одним из главных достоинств концепции ее автор считает формулировку имплицативной иерархии, которая предсказывает все возможные структуры видового гнезда.

Критический анализ теории видовых гнезд представил А. А. Горбов, который отметил как ее достоинства, так и недостатки. Он выделил, в частности, три основных проблемы: 1. Проблема выбора исходного глагола НСВ; 2. Проблема неопределенности понятия “естественного перфектива” и 3. Проблема неопределенности понятия “специализированного перфектива”. Главным достоинством идеи создания модели аспектуальных кластеров “является возможность описания всех словообразовательных возможностей глаголов с учетом их аспектуально-семантического потенциала”¹⁴. Полностью соглашаясь с оценкой и критикой теории видовых гнезд, содержащейся в статье, следует отметить некоторое сходство аспектуальных кластеров с фазовыми парадигмами, но в то же время отсутствие в теории фазовой парадигматики тех проблем, о которых говорит А. А. Горбов.

Главное достоинство обеих теорий – объединение вида и способов действия, устранение их противопоставления и преодоление границ между ними, которое невозможно, если изучать эти явления по отдельности. Сходство с фазовой парадигмой заключается и в том, что “в видовое гнездо входит не пара глаголов, а все глаголы, мотивированные одной основой и связанные друг с другом деривационными отношениями”¹⁵. Однако структура фазовой парадигмы кардинально отличается от структуры видового гнезда. Имеется всего 4 типа фазовых парадигм: полная (четырёхсторонняя), как например, парадигма глагола *улыбаться*, и неполная – односторонняя, двусторонняя либо трёхсторонняя, в зависимости от наличия / отсутствия производных глаголов, выражающих те или иные виды фазовости синтетически.

Синтетическими способами выражения фазовости мы называем выражающие дополнительно к своему лексическому значению фазовые пределы глаголы СВ или НСВ, мотивированные исходным глаголом. Именно они включаются в фазовые парадигмы. При этом подавляющее большинство глаголов НСВ способны передавать фазовые значения аналитически – сочетаниями с фазовыми глаголами (*начать / начинать, стать, продолжать, кончить / кончать, закончить / заканчивать* и под.). Этот широко известный факт позволяет говорить о наличии у глаголов НСВ “синтетической” и “аналитической” фазовой парадигмы. Глаголы, не имеющие ни видовых пар, ни других видовых дериватов, либо вообще не имеющие словообразовательных парадигм (одиночные), могут оказаться глаголами с нулевой фазовостью. Таковы одиночные глаголы СВ (типа *несдобровать, ринуться, прикорнуть, улизнуть* и т. п.) и глаголы СВ, не имеющие в своей словообразовательной парадигме глаголов НСВ, например: *оторопеть*.

Глаголы НСВ, по нашим данным, имеют нулевую фазовость исключительно редко. Многие глаголы абсолютного НСВ, отмеченные в словарях как одиночные либо не имеющие дериватов-глаголов, в современном дискурсе употребляются с фазовыми глаголами (т. е. выражают фазовость аналитически) и / или с различными аффиксами, имеющими ярко выраженные фазовые оттенки. Так, *значить* имеет большое словообразовательное гнездо, в котором нет ни одного глагола. В разговорной речи носителей языка ни с какими аффиксами не сочетается, однако употребляется в сочетаниях *стал значить, перестал значить, продолжает значить* (имеются примеры в НКРЯ¹⁶, в сети Интернет), т. е. аналитически передает начало, продолжение и завершение процесса. Одиночный (по данным “Словаря” А. Н. Тихонова) глагол *ютиться* широко употребляется в речи с приставками, образуя дериваты СВ *заютиться, поютиться, проютиться, переютиться*, и в сочетании с фазовыми *стать, перестать*,

продолжать¹⁷. Таким образом, среди глаголов НСВ пока найден лишь один ЛСВ глагола *соответствовать* ('Совпадать по времени, приходится на какое-л. время') с нулевой фазовостью.

Итак, фазовая парадигма – это особым образом структурированное гнездо, в котором вокруг исходного глагола объединяются его производные на I ступени глаголы другого вида, выражающие фазовые пределы, супплетивная видовая пара, а также многократные и некоторые другие вторичные имперфективы, выражающие одно- / многократные фазовые отношения. Главным условием объединения глаголов в фазовой парадигме формально являются отношения непосредственной мотивации, а семантически – выражение отношений фазовости: начала, завершения или повторяемости процесса. Фазовые парадигмы имеют глаголы обоих видов, однако СВ может обладать и нулевой фазовостью, среди глаголов НСВ таких слов единицы, поскольку НСВ выражает фазовые значения аналитически – сочетаниями с фазовыми глаголами. Полная фазовая парадигма включает 4 направления фазовости, минимальная только одно. Фазовость определяется для каждого ЛСВ многозначного глагола, поэтому в парадигме из двух слов может быть 2 или 3 направления фазовости.

Изучение фазовых парадигм позволяет выявить общие свойства глаголов разных лексико-семантических групп и уточнить классификацию первичных глаголов. Фазовая парадигма с успехом заменяет такую спорную аспектологическую категорию, как способы действия. В преподавании русского языка иностранцам фазовая парадигма дает новые возможности для обучения видам и семантическим связям глаголов. Словарь фазовых парадигм русских глаголов не имеет аналогов в лексикографической практике.

¹ Соколов О. М. Имплицитная морфология русского языка: монография. – 2-е изд. – Нежин, 2010; и др. ² См.: Титаренко Е. Я. Фазовая парадигма русского глагола // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. – К., 2009. – С. 98–102; Титаренко Е. Я. Глаголы с нулевой фазовостью в русском языке // Русский язык и литература в школе и вузе: проблемы изучения и преподавания. – Горловка, 2010. – С. 323–327; Титаренко Е. Я. Фазовая парадигматика глаголов положения в пространстве // II международная конференция “Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы”. – Т. 1.: Доклады и сообщения. – Granada, 2010. – С. 281–286 и др. работы автора. ³ См.: Титаренко Е. Я. Словарь фазовости русских глаголов: концепция и структура // Культура народов Причерноморья. – №44. – 2003. – С. 71–74.; Титаренко Е. Я. Проблемы лексикографического описания глагольной лексики // Культура народов Причерноморья. – №60 – Т. 3. – 2005. – С. 10–17. и др. публикации автора. ⁴ Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. – Т. II. – М., 2004. – С. 134–135. ⁵ Кронгауз М. А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. – М., 1998. ⁶ Добрушина Е. Р., Меллина Е. А., Пайяр Д. Русские приставки: многозначность и семантическое единство. – М., 2001. – С. 13. ⁷ Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. – Т. 1. – М., 1985. – С. 47. ⁸ Тихонов А. Н. Указ. соч. – Т. 1. – С. 116–119. ⁹ Тихонов А. Н. Указ. соч. ¹⁰ Титаренко Е. Я. Способы выражения фазово-видовых значений глаголов в русском языке // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. – К., 2004. – С. 81–89; Титаренко Е. Я. Учебный словарь фазовости русских глаголов // Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы XI Конгресса МАПРЯЛ. – Т. 2: Проблемы фразеологии. Русская лексикография: тенденции развития. – Sofia, 2007. – С. 542–548. ¹¹ Лора А. Янда. За пределами парности: соединение вида и способа действия в модели русского словообразования [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.unc.edu/~lajanda/JandastpeteRussian.ppt ¹² Makarova A. Psycholinguistic evidence for allomorphy in Russian semelfactives, 2009 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/2377/2/thesis.pdf> – С. 17. ¹³ Janda Laura A. Aspectual clusters of Russian verbs. Studies in Language, 2007, vol. 31 (3), pp. 607–648. ¹⁴ Горбов А. А. Теория видовых гнезд: pro et contra // Материалы XXXVIII Международной филологической конференции 16–21 марта 2009 г. Санкт-Петербург. Общее языкознание. – СПб., 2008. – С. 23. ¹⁵ Макарова А. Указ. соч. – С. 16. ¹⁶ НКРЯ: Национальный корпус русского языка. Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru> ¹⁷ Титаренко Е. Я. Фазовая парадигматика глаголов Imperfectiva tantum // Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского: Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Т. 24 (63). – №1. – Ч. 1. – Симферополь, 2011. – С. 170–178.

РҮСНІСТИКА

Вып. 11

Київ – 2011

Ю. А. Шепель (Днепродзержинск)

РАЗРЕШЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ ПРОИЗВОДНЫХ В ПРЕДЕЛАХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЯДА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО (СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПОЛЯ

Поднимая вопрос о семантической структуре производных слов тех или иных словообразовательных рядов, мы попытаемся установить (1) как содержательные характеристики и различия производных прилагательных, составляющих словообразовательные ряды, коррелируют со словообразовательной структурой; (2) что предопределяет отнесение производных разных словообразовательных рядов к одному или разным семантическим полям. Для этого рассмотрим одну из важных проблем, которая касается вопроса семантического моделирования рядов производных слов и связанных с их анализом влияния полисемии на этот процесс.

Анализ словообразовательного ряда как комплексной двусторонней единицы словообразовательного уровня рассматривается нами с позиции полевой семантики. Мы исходим из того, что словообразовательный ряд отвечает требованиям лингвистического (словообразовательного) поля, подобно словообразовательному гнезду.

Предметом исследования в статье стали имена прилагательные и те словообразовательные ряды, которые они образуют в системе русского языка.

Объектом исследования послужила полисемия производных прилагательных и семантические связи как одноаффиксальных, так и разноаффиксальных производных слов в словообразовательных рядах, приводящие к появлению частичной синонимии или паронимии.

В современном языкознании по-разному истолковываются свойства лексико-семантических микроструктур. Это указывает, с одной стороны, на различный опыт разработки лексических сфер разными исследователями, а с другой, – на отличия принципиально теоретического характера. Полевый подход к изучению языковых явлений как методологический приём обусловливается природой самого объекта анализа и является следствием стремления современной лингвистики осмыслить язык как систему и описать языковые факты в их системной взаимосвязи.

Пристальное внимание к теории “поля” (Г. С. Щур, В. Н. Русановский, П. А. Соболева, А. В. Бондарко, О. Г. Ревзина, Н. Ф. Клименко, В. Н. Мигирин, Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Е. В. Клобуков, П. П. Березницкая, М. В. Всеволодова, Г. А. Золотова, Е. С. Кубрякова, Го Шуфень, Н. А. Мех, Ю. А. Шепель и мн. др.) привело к постулированию их разнообразных типов (семантических, лексических, морфологических, синтаксических, грамматико-лексических, словообразовательных), представляющих собой весьма значительные варианты общей идеи – смысловой связи слов друг с другом в языке.

Интенсивная разработка теории поля поставила на повестку дня вопрос о необходимости решения ряда проблем, которые в самом общем виде можно свести к таким: 1) какое направление в изучении языковых функционально-семантических категорий следует предпочесть – дедуктивное, индуктивное или дедуктивно-индуктивное, 2) как определять само поле – как понятие методическое или онтологическое, 3) обязательна ли для поля опора на грамматическую категорию или языковые средства, которые могут быть объединены семантической функцией без опоры на грамматическую категорию? Если не обязательна, то, что в таком случае составляет ядро поля, не имеющего в центре морфологической ∨ синтаксической категории?

Исходя из вышеизложенного, традиционно поле изучалось с позиции методической оппозиции “взаимодействие // противодействие” лексических и грамматических средств, а также с разных направлений: исходя из центра – грамматической категории – и рассматривая взаимодействующие с ней средства других уровней, или в обратном направлении – перенося основное устремление на лексические средства выражения определенного значения. Характеризуя то или иное поле, исследователи в большинстве случаев не дают конкретного определения “языкового поля”, ограничиваясь только лишь косвенной его характеристикой через свойственные ему признаки (Й. Трир, А. Лерер, Г. С. Щур, В. Н. Хохлачёва, А. В. Бондарко, М. В. Всеволодова). Моделирование системы языка оказалось эффективным приёмом её познания. Одной из первых моделей системы языка признаётся модель уровней, которую в разное время представляли в виде спирали, цепочки, лестницы, этажерки и др. материальных фигур, дала лишь самую приблизительную разбивку состава языковой системы на классы элементов (фонем, слов, словоформ, словосочетаний и пр.). Вместе с тем полевая модель системы языка в настоящее время имеет разнообразные интерпретации и применения. Предмет исследования в современной теории поля составляют группировки языковых единиц, объединяемых на основе общности выражаемого ими значения (семантический принцип), по общности выполняемых ими функций (функциональные принципы) или на основе комбинации этих двух признаков (функционально-семантический принцип). Выделяемые группировки поля представляют собой системные образования с характерными для любой системы связями и отношениями, которые в то же время обладают собственными специфическими чертами. Специфика поля как способа существования объекта характеризуется явлением аттракции, суть которого в том, что благодаря существованию данной группы элементов с общим признаком, этот синтагматический по своему происхождению признак закрепляется за данным элементом. Другой важной чертой считается возможность пересечения отдельных полей, что приводит к образованию общих сегментов (зон) для семантического перехода (например, от ядра к периферии)¹. Пересекаются не поля вообще, а формирующие категории. Таков сам механизм пересечения. Осложнённые значения (т. е. пересечение с другими категориями) традиционно считаются признаком периферийности. Пересечение полей происходит в центре и не затрагивает периферию категории. Пересечения же нескольких полей тоже образуют свое поле с “минусовым” центром, где все характеристики этих полей выражены минимально².

Поле может объединять в своем составе разнообразные языковые средства, принадлежащие к различным грамматическим классам или уровням языка. Например, Р. М. Гайсина трактует лексико-семантическое поле слов, выражающих отношение, как межчастеречное и включает в него глаголы, прилагательные, существительные и наречия, обозначающие актанты этих ситуаций “на основе тенденции тяготения слов актантной семантики к соответствующим словам предикатной семантики”³.

Поле, подобно всякому системно-структурному объединению, имеет определённую структуру (конфигурацию). Понятие структуры поля подразумевает наличие обусловленных группировок элементов внутри данного множества, пересечение отношений в структуре, наложение связей⁴. Поле может иметь в своем составе несколько микрополей, обладающих относительной самостоятельностью.

Вне всякого сомнения, полевая модель утверждает представление о языке как о системе подсистем. Согласно этой модели язык предстаёт как функционирующая система, в которой происходят постоянные перестройки элементов и отношений между ними. В рамках теории функционально-семантических полей выделяются такие типы полей: 1) моноцентрические (сильно централизованные), имеющие чётко выраженную доминанту, 2) полицентрические (слабо централизованные), которые базируются на совокупности различных средств, не обладающих единой гомогенной системой. В пределах последнего типа различаются два подтипа: а) поля рассеянной, диффузной структуры, имеющие множество компонентов при слабо выраженной границе между ядром и периферией, б) поля компактной полицентрической структуры с явно выраженными центрами⁵.

Основополагающим для понятия “лингвистического” поля как синхронной системы являются: 1) понятие инварианта поля, 2) понятие структуры поля, то есть сети отношений между его элементами.

Возможность интерпретации словообразовательных полей обусловливается тем, что категория “поля” характерна для всех уровней языка (ср. наличие инвариантных групп в фонетике, лексике, морфологии, словообразовании и синтаксисе). Определяются словообразовательные поля на материале разных грамматических элементов. Само же различие словообразовательных полей зависит от содержания конкретного материала. В частности, для эффективного сравнения различий на словообразовательном уровне довольно часто создают некоторую общую базу (*tertium comparationis* – эталон). Как общую базу можно использовать также собственно словообразовательные поля, *resp.* в их рамках ряды упорядоченных семантических признаков.

Под **словообразовательным полем** обычно признаётся совокупность производных слов, относящихся к одной части речи, а также образованных от слов одной части речи и пр. При этом заметим, что самостоятельное категориальное значение имеют не аффиксы, а семантическое поле, в которое “втягиваются” аффиксальные образования. Признание факта относительной семантической нейтральности словообразовательных формантов, вместе с тем, не означает отказа от их систематизирующего, моделирующего влияния. Так, в основу выделения, скажем, префиксального √ суффиксального словообразовательного полей можно положить то стержневое, главное значение, которое приобретает приставка √ суффикс в соединении с мотивирующим коррелятом. Отношение же между значением приставки √ суффикса и семантикой мотивирующего коррелята весьма сложное и разностороннее. Приставочное √ суффиксальное поле определяется как совокупность приставочных √ суффиксальных слов определенной части речи, характеризующихся обобщенностью семантики, создаваемой сложным взаимодействием значений аффикса, мотивирующего коррелята и контекста; общностью морфемного состава; общностью функций, суть которых заключается в том, что элементы, включенные или включающиеся в них, имеют или приобретают значения, общие для элементов данного поля⁶.

В области семантики словообразовательные поля можно ограничить иерархически упорядоченным набором систематических признаков. Если этот набор изобразить графически⁷, то каждое его ребро будет представлять один семантический тип. С этим семантическим типом может быть связано несколько словообразовательных типов (характеризующихся, прежде всего, особым формантом, т. е. собственно словообразовательным рядом).

Полевый подход к языковым фактам характеризуется рядом свойств, общих для всех типов полей. Остановимся на этом⁸.

1. Большинство лингвистов склонны считать основным атрибутом поля наличие сложного взаимодействия элементов его составляющих, образующих определенную структуру. Такое же взаимодействие отмечается и между элементами словообразовательных полей. Причина этого кроется во множественности признаков языковых явлений.

2. Общее стержневое значение поля присутствует в каждом из входящих в ту или иную группу производных слов как инвариант, в то время как значение, характерное для подполя, входящего в заданное поле, может быть нехарактерным для всего этого поля.

3. Общее стержневое значение поля не едино. Оно распадается минимум на два значения, которые могут быть полярными.

4. Поле – неоднородное понятие. Оно включает в себя совокупность элементов, принадлежащих различным уровням языка.

5. Членение поля на центр и периферию обуславливается неоднородностью входящих в него элементов.

6. Структура полей может быть различна: она зависит от количества и свойств элементов, их составляющих, а также от отношений, возникающих между ними.

Значения производных слов-конституентов словообразовательных рядов являются основными составляющими словообразовательных полей этих рядов. Они выступают как сложное составляющее единство двух частей: (1) *общей (инвариантной)*, свойственной всему разряду слов, составляющих определенное словообразовательное поле; (2) *особой*, принадлежащей конкретному производному или группе производных слов и отличающей одно слово от другого или одну группу дериватов от другой. Выражение производными словами одного или нескольких значений указывает на наличие в нем простой или сложной семантической структуры. Под *семантической структурой* в этом случае мы понимаем совокупность семантических компонентов, присутствующих в значении слова одновременно. Объединение производных слов по признаку частных словообразовательных значений как лексических созначений самих корней приводит к выделению словообразовательных полей. В отличие от словообразовательного типа словообразовательное поле не связывает себя тождеством форманта, оно основывается на тождестве значения. Ср., например, асимметрию языкового знака в словообразовательном ряду на =ец=

горец	-----
комсомолец	
ленинец	
партиец	
борец	
гонимец	
писец	

один словообразовательный ряд <== один
словообразовательный тип

в одном словообразовательном ряду с *горец* ..., но принадлежит другому словообразовательному типу; объединяет общий формант, общее значение лица, но различаются от вышеприведенных мотивирующей основой (глагол).

Подводя итог всему вышесказанному, отметим следующее.

Рассматриваемые в пределах словообразовательных рядов, как, впрочем, и словообразовательных гнезд, наборы классов слов вполне отвечают понятию лингвистического поля⁹. Это объясняется тем, что в основе каждого из них лежит некоторый неизменный вариант. Таким инвариантом является множество словообразовательных структур.

В полях типа “гнездо” и “макрогнездо” инвариантом, как известно, признаётся первый деривационный шаг. В полях типа “ряд” и “макроряд” – последний деривационный шаг¹⁰.

Элементами словообразовательных полей являются классы слов идентичной словообразовательной структуры. Сеть отношений между элементами поля складывается из системы противопоставлений каждого из них всем остальным.

Основными классификационными единицами словообразовательного уровня в системе, состоящей из таких единиц, как деривационный шаг; словообразовательная структура слова; словообразовательное гнездо и словообразовательный ряд; макрогнездо и макроряд, признаются словообразовательная структура слова и словообразовательное гнездо / ряд. Без этих единиц невозможно ни вычленение элементарной единицы словообразовательного уровня (= деривационный шаг), ни получение более крупных единиц (= макрогнезд и макрорядов)¹¹.

Значительное количество однокорневых слов, принадлежащих к разным словообразовательным рядам и вступающих в синонимические и паронимические отношения, является многозначными словами.

Между многозначными словами возможны смысловые связи по одному из значений, т. е. отдельные ЛСВ полисемичных слов могут вступать в синонимические связи. Когда отдельные значения полисемичных слов вступают в синонимические отношения, другие обнаруживают паронимические связи. Паронимические отношения отдельных значений полисемичных слов можно проиллюстрировать на примере прилагательных, относящихся к словообразовательным рядам на =ическ(ий), =ичн(ый). Эти прилагательные в русском языке, как правило, представлены коррелятивными парами типа

академический – академичный, автоматический – автоматичный, аллегорический – аллегоричный, анархический – анархичный, антипатический – антипатичный, апокрифический – апокрифичный, ароматический – ароматичный, артистический – артистичный, астматический – астматичный, атавистический – атавистичный, демократический – демократичный, иронический – ироничный, лирический – лиричный, методический – методичный, исторический – историчный, мелодический – мелодичный, метафизический – метафизичный, мифический – мифичный, мистический – мистичный, монистический – монистичный, неврастенический – неврастеничный, органический – органичный, пластический – пластичный, полемический – полемичный, схематический – схематичный, технический – техничный, трагический – трагичный, экономический – экономичный, юмористический – юмористичный, этический – этичный и др. (всего 54 пары). Сложные отношения между парами прилагательных словообразовательных рядов на =ическ(ий), =ичн(ый) создаются полисемантизмом многих прилагательных ряда на =ическ(ий), которые, развивая качественные значения, синонимизируются с прилагательными словообразовательного ряда на =ичн(ый). Например, в МАСе слово *методичный* объясняется как “то же, что и *методический* во втором значении”, то есть с прилагательным *методичный* прилагательное *методический* совпадает в качественном значении. Аналогичные отношения имеют место у пар *антагонистический* – *антагонистичный*, *демократический* – *демократичный*, *драматический* – *драматичный*, *лирический* – *лиричный*, *мелодический* – *мелодичный*, *метафизический* – *метафизичный*, *мифический* – *мифичный*, *мистический* – *мистичный*, *патриотический* – *патриотичный*, *прозаический* – *прозаичный*, *поэтический* – *поэтичный*, *психологический* – *психологичный*, *ритмический* – *ритмичный*, *полемический* – *полемичный*, *иронический* – *ироничный*, *симптоматический* – *симптоматичный*, *статический* – *статичный*, *схематический* – *схематичный*, *трагический* – *трагичный*, *феерический* – *фееричный*, *цинический* – *циничный*, *флегматический* – *флегматичный*, *романтический* – *романтичный*, *фантастический* – *фантастичный*.

Для дифференциации словообразовательной паронимии и синонимии нами используется идея о логическом отношении омосемичных единиц при синонимии: полное совпадение и включение (= абсолютные синонимы), пересечение (= частичные синонимы), полное несовпадение (= разные слова).

Различаются лексические и словообразовательные синонимы и паронимы.

Паронимы лексические – это слова разных словообразовательных гнезд, образуемые от омонимичных корней или одного корня. Лексические значения компонентов паронимической пары обязательно разграничены, ср.: *земляной* – *земной*, *обидный* – *обидчивый*, *цветной* – *цветовой*, *просительный* – *просительский*, *разборочный* – *разборчивый*, *спасательный* – *спасательский*, *непроницаемый* – *непроницательный*.

Частичные синонимы ∨ паронимы – это близкие по значению однокорневые слова, располагаемые в одном словообразовательном гнезде, но в разных словообразовательных рядах. Для частичной паронимии ∨ синонимии характерна синонимия ступеней деривации, ср.: *покупательский* $R_3R_1R_1O$ – *покупательный* $R_3R_2R_1R_1O$, *малахитный* – *малахитовый* R_3R_2O , *раскольнический* – *раскольничий* $R_3R_2R_1R_1O$, *насильный* – *насильственный* R_3R_2O / $R_3R_2R_3R_2O$, *мелодический* – *мелодичный* R_3R_2O , *прозаический* – *прозаичный* R_3R_2O , *сладкий* – *сладостный* R_3O / $R_3R_2R_3O$ и др.

Для синонимов, образуемых на одном и том же шаге деривации, характерна синонимия аффиксов, ср.: *нераздельный* – *неразделимый*, *романтический* – *романтичный*, *ремесленнический* – *ремесленный*, *наследный* – *наследственный*, *дарёный* – *даровой*, *гневливый* – *гневный*. Отдельную тему для изучения представляют словарные “паронимические пары”, характеризующиеся наличием полисемичного параллелизма в словах с лексической полисемией.

Частичная синонимия ∨ паронимия чаще всего сохраняется на уровне ЛСВ многозначных слов. Сохранение семантических связей между ЛСВ даёт возможность лексикографам идентично толковать пары слов, приводимые в словаре О. В. Вишняковой¹² как паронимы. Довольно часто такие пары слов рассматриваются как словообразовательные варианты. Различение словообразовательных синонимов и вариантов – специальный вопрос, требующий дальнейшего специального исследования с позиции семантической структуры словообразовательных гнезд и пересечения словообразовательных рядов. Не меньший интерес могут представлять синонимы ∨ паронимы, образуемые на базе одного / нескольких значений омонимичных слов типа *публицистический*_{1,2} и *публицистичный*₁.

Попытку осмыслить паронимию и показать паронимы в их связях с другими языковыми единицами, определить свойственные им признаки предприняли украинские лингвисты Д. Г. Гринчишин и А. А. Сербенская¹³. В основу анализа учёные положили понятие “семантического поля”. В словаре авторами различаются полные и неполные паронимы. В частности отмечается, что “способность полностью расходиться в значениях проявляют *полные* паронимы (их ещё называют настоящими,

абсолютными или максимальными). Однако в определенные паронимические отношения могут вступать также и близкие в звуковом отношении слова (чаще всего однокорневые), у которых процесс размежевания по значению полностью не завершился: в отдельных значениях они расходятся, в других – сближаются, вступая далее в синонимические связи. Это – *неполные паронимы*”¹⁴. Авторы словаря неполные паронимы относят к частичным синонимам.

Основой выделения паронимов среди однокорневых разноаффиксальных образований является семантическая оппозиция слов одной части речи, образованных от одного корня¹⁵.

В сфере имён прилагательных среди лексических паронимов широко представлены суффиксальные образования: *хваткий // хватский, старательный // старательский, разборочный // разборчивый, обличительный // обличительский, опытнический // опытный, наёмнический // наёмный, мучительный // мучительский, наблюдательный // наблюдательский, просветительный // просветительский, неорганический // неорганичный, ароматический // ароматичный* и др.

Паронимия, на наш взгляд, является следствием словообразовательных процессов и пересечения семантических полей однокорневых разноаффиксальных производных словообразовательных рядов. Для слов-паронимов характерно несовпадение (почти полное) сфер лексической сочетаемости, что исключает употребление одной паронимической лексемы вместо другой в одном и том же контексте. При возможном совпадении лексической сочетаемости паронимов некоторых пар (ср. *реальный взгляд // реалистическое искусство*) наблюдается несовпадение сфер содержательного отождествления, что также исключает взаимозаменяемость лексем одной и той же паронимической пары.

Однокорневые слова становятся паронимами, когда приобретают наибольшую самостоятельность, наибольшую дифференцированность в своём лексическом значении, ср.: *солярный // соляровый, командированный // командировочный, склочнический // склочный, эстетный // эстетский, строительный // строительский, просительный // просительский, прожигательный // прожигательский, луковичный // луковый, непроницаемый // непроницательный, поручительный // поручительский, отходной // отходчивый, проповеднический // проповеднический, подрядный // подрядческий, гусачий // гусячий, мучительный // мучительский, наёмнический // наёмный, опытнический // опытный, старательный // старательский, спасательный // спасительный // спасательский, обличительный // обличительский, разборочный // разборчивый* и др. Поэтому невозможно отнести к абсолютным паронимам все однокорневые слова, в которых одно слово указывает на признак, а другое – на часть этого же признака в ином качестве и количестве типа *мучной – мучнистый, волосатый – волосастый, носатый – носастый* и др.

Для разграничения паронимов и синонимов необходимо найти признаки, определяющие каждое из этих двух лингвистических явлений в системе однокорневых образований. Тем общим, что создаёт предпосылки для смешения однокорневых разноаффиксальных слов в процессе их употребления, являются на семантическом уровне – близость одной пары (или большого количества) слов; на морфологическом уровне – общность корневой морфемы и принадлежность к одной части речи; на фонетическом уровне – сходство звуковых оболочек слов.

Отсюда, с лексической точки зрения синонимы – однокорневые слова в том случае, если они выражают одно понятие, имеют значение одного объёма, одинаковую лексическую валентность, принадлежат к одной и той же части речи, стилистически разноплановы. Паронимы – если они выражают разные понятия, дифференцирующий элемент значения указывает на неполное совпадение смысловых объёмов членов ряда, что превращает их в отдельные лексические единицы и проявляется в специфике их сочетаемости с другими словами при функционировании их в языке.

При выявлении объёмов значения однокорневых образований обнаруживается разрыв в семантическом содержании как у синонимов, так и у паронимов. Однако для синонимов характерны незначительный семантический сдвиг и, в большинстве случаев, стилистическая разноплановость. Для паронимов разрыв в семантическом содержании является более существенным.

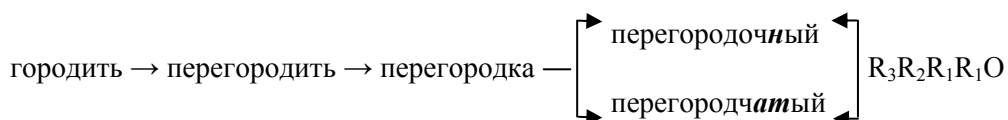
Так как в нашем исследовании речь идет об однокорневых словах разных словообразовательных рядов, то в основу разграничения таких образований, как синонимы и паронимы, должен быть положен принцип общности и различия.

Однокорневые синонимы и паронимы имеют общий смысловой центр. Они семантически сопряжены, как было показано выше, через семантическую мотивированность и вершину словообразовательного гнезда. Но у двух слов, составляющих паронимическую пару, различна предметно-логическая основа, что вызывает их разную лексическую сочетаемость. Проверкой разрыва в семантике двух, как минимум, производных слов от моносемичных корней может служить подбор синонимов к каждому из них. Так, в парах прилагательных *главный // заглавный, незаменимый // незаменимый, неслышимый // неслышный, гнилой // гнилотный, дождевой // дождливый, духовный // духовой,*

дымный // дымовой, дарёный // даровой, грозный // грозовой, громкий // громовой, водный // водяной, шумный // шумовой, шелковистый // шёлковый, каменистый // каменный, лобный // лобовой, зернистый // зерновой, горделивый // гордый, гневливый // гневный замена одного компонента другим – признак паронимической аттракции, или семантического синкретизма, на основе близости звучания элементов каждой пары и подсознательной ассоциации говорящего, который устанавливает семантическую параллель между разными по значению словами. Такое непреднамеренное смешение основывается на том, что смысловая сторона компонентов таких пар однокорневых слов подвержена психологическому перенесению прямого значения на переносное. Синонимическое выравнивание слов по аналогии оказывается функциональным проявлением паронимии.

Среди общего числа лексических паронимов, входящих в адекативные словообразовательные ряды, наиболее пополняемой в современном русском языке последних десятилетий является группа суффиксальных прилагательных. В образовании их принимают участие такие суффиксы, как $=н/=лив=$, $иј/=ск=(=еск)$, $иј/=ов=/ев=$, $=иј/=н=$, $=чат=/очн=$, $=ат=/аст=$. Однако наиболее продуктивными являются ряды прилагательных на $=ическ(ий)/=ичн(ый)$, $=еск(ий)/=н(ый)$.

К словообразовательным паронимам мы относим слова, располагаемые в пределах одного словообразовательного гнезда, но разных словообразовательных рядов, и различающиеся лексическим значением, ср. пару *перегородочный* // *перегородчатый*:



Словообразовательная паронимия появляется 1) как следствие словообразовательных отношений, устанавливаемых между разными значениями полисемичных слов (*кондукторный* – *кондукторский*); 2) в результате развития $\vee$ появления словообразовательной омонимии на нулевом шаге или $n + 1$ шаге деривации (*коренной* – *корневой*, *клеточный* – *клетчатый*); 3) за счет направления актов деривации в разных ветвях одного словообразовательного гнезда, ср. *пес* > *псарня* > *псарный* и *пес* > *псарь* > *псарский*; 4) за счет разной степени проявления признаков (*водный* – *водяной*, *болотистый* – *болотный*); 5) в связи с сохранением семантической связи с устаревшими словами (*ниточный* – *нитяный*).

Исходя из факта существования морфологического варьирования слова в языке, словообразовательные синонимы понимаются нами как модификации количества и материального состава словообразовательных морфем, не нарушающие тождества слова. Основными признаками словообразовательных синонимов являются а) тождество корневой морфемы и б) семантическая близость, находящая отражение в синонимии словообразовательного форманта и одинаковой синтаксической функции производного, ср.: *зубатый* и *зубастый*, *сверхмодный* и *супермодный*, *архимодный*. Появление и развитие полной или частичной лексико-словообразовательной синонимии наблюдается обычно в той группе однокорневых паронимически связанных слов разных словообразовательных рядов, которые входят в одно гнездо и образуются или на одном и том же деривационном шаге, или на разных шагах деривации, ср.: *мелодия* > *мелодичный*, *мелодический* $R_3 R_2 O$, *мистика* > *мистический*, *мистичный* $R_3 R_2 O$, *хватать* (*хватить*) > *охватить* / *обхватить* > *охваченный* / *обхваченный* $R_3 R_1 R_1 O$, *чеканить* > *чеканка* > *чеканочный* / *чеканный* $R_3 R_1 R_1 O$; *наследовать* > *наследный* и *наследовать* > *наследство* > *наследственный* $R_3 R_1 O$ / $R_3 R_2 R_1 O$, *сладкий* > *сладостный* $R_3 O$ / $R_3 R_2 R_3 O$, *шелк* > *шёлковый* и *шёлк* > *шёлковый* > *шелковистый* $R_3 R_2 O$ / $R_3 R_3 R_2 O$ и др. Следствием словообразовательной синонимии является формантная избирательность производящих внутри словообразовательного гнезда, то есть образование слов по одной и той же словообразовательной модели.

Среди словообразовательных синонимов одного словообразовательного гнезда, но разных словообразовательных рядов выделяются (1) производные одного и того же шага деривации (назовём их *одношаговыми равнопроизводными*), ср.: *безотлучный* – *неотлучный* ($R_3 R_1 O$), и (2) производные разных шагов деривации (назовём их *межшаговыми равнопроизводными*), ср.: *боевой* – *боевитый* $R_3 R_2 R_1 O$ – $R_3 R_3 R_2 R_1 O$ и др.

Равнопроизводные прилагательные-синонимы подразделяются на две группы: корневые, ср. *отчетливый* – *четкий* $R_3 O$; и аффиксальные, ср.: $R_3 R_1 O$ *безвозвратный* – *невозвратный*, *безутешный* – *неутешный*, *безотлучный* – *неотлучный*; $R_3 R_2 O$ *гармоничный* – *гармонический*, *мелодичный* – *мелодический*, *басистый* – *басовитый*; $R_3 R_3 O$ *безопасный* – *неопасный* (*опасный*).

Разнопроизводные словообразовательные синонимы-прилагательные в структурном отношении также характеризуются, как и равнопроизводные, неравнозначностью и подразделяются на две группы: 1) одно мономорфично – другое полиморфично, ср. *великий* R_3O – *величавый* $R_3R_2R_3O \vee R_3R_3O$, *бестактный* R_3R_2O – *нетактичный* $R_3R_3R_2O \vee R_3R_2O$, *бесталанный* R_3R_2O – *неталантливый* $R_3R_3R_2O \vee R_3R_2O$; 2) оба синонима полиморфичны, ср.: *антинаучный* $R_3R_2O \vee R_3R_3R_2O$ – *ненаучный* $R_3R_2O \vee R_3R_3R_2O$; *безызвестный* – *неизвестный*; *невооруженный* $R_3R_3R_1R_2O \vee R_3R_1R_2O$ – *безоружный* $R_3R_2O \vee R_3R_1R_2O$.

Прилагательные-синонимы одного словообразовательного гнезда и разных словообразовательных рядов характеризуются в основном гетерогенностью R =структуры. Гомогенные R =структуры можно наблюдать в группе отаждективных производных со значением негации и противопоставления (*неспокойный* – *беспокойный*, *безвозбранный* – *невозбранный*) и квантитативным значением (*подслепова-тый* – *подслепой*, *святой* – *священный*).

Смысловые различия между словообразовательными синонимами большей частью характеризуются либо квантитативным признаком, либо наличием негации. Квантитативный признак для ряда производных прилагательных русского языка может усложняться эмоционально-оценочной коннотацией, ср.: *здоровый* – *здоровенный* (*прост.*).

Таким образом, в заключение можно отметить, что однокорневые образования создают много-ступенчатую иерархию в языке. Это вынуждает их по-разному интерпретировать. Среди однокорневых слов выделяются морфологические варианты и отдельные слова как самостоятельные семантические единицы. Если общий принцип разграничения морфологических вариантов одного слова и разных (параллельных) производных слов представляется достаточным, то теоретические критерии дифференциации словообразовательных рядов еще не выработаны. Имеют место случаи, когда от одного корня образуются два и более однокорневых слова, принадлежащих к одной части речи и близких или тождественных по значению типа *аккордный* – *аккордовый*, *анархический* – *анархистский*, *диетический* – *диетичный*, *атлетический* – *атлетичный*, *гигиенический* – *гигиеничный*, *ракушковый* – *ракушечный*, *черепаховый* – *черепаший*, *песочный* – *песчаный* и др.

Многоступенчатая иерархия однокорневых производных создаёт условия для их различной интерпретации. Наличие синонимов типа *костистый* – *костлявый* свидетельствует о развитии динамических процессов в системе прежде всего словообразовательных типов и далее – в системе словообразовательных рядов.

¹ Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. – Л., 1983; Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. – М., 1969; Дешериева Т. Н. Лингвистический аспект категории времени и его отношение к физическому и философскому аспектам // Вопросы языкознания. – 1975. – № 2. ² Туманова Ю. А. Простые предложения, описывающие наличие объекта в объёмном пространстве: Дис. ... канд. филол. наук. – М., 1985. ³ Гайсина Р. М. Лексико-семантическое поле отношения в современном русском языке: Автореф. дисс. ... доктора филол. наук / 10.02.01. – русский язык. – Уфа, 1982. – 32 с. ⁴ Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. – М., 1974. ⁵ Бондарко А. В. Указ. соч.; Шмелёва Т. В. Семантический синтаксис. Текст лекций. – Красноярск, 1994; Всеволодова М. В. Поля, категории и концепты в грамматической системе языка // Вопросы языкознания. – 2009. – № 3. – С. 76–99. ⁶ Шепель Ю. А. Словообразовательный ряд в системе словообразования. – Днепропетровск, 2006. – 304 с. ⁷ Имеются ввиду векторные ориентированные графы, широко применяемые в аппликативной порождающей грамматике. См. монографические исследования автора: Шепель Ю. А. Моделирование словообразовательных рядов слов. – Днепропетровск, 2000. – 319 с.; Шепель Ю. А. Словообразовательный ряд: принципы построения и анализа. – Днепропетровск, 2001. – 116 с.; Шепель Ю. А. Словообразовательный ряд в системе словообразования. – Днепропетровск, 2006. – 304 с. ⁸ Система словообразовательных полей деривационных рядов имён прилагательных русского и украинского языков подробно описана и широко представлена в третьем разделе монографического исследования автора: Шепель Ю. А. Словообразовательный ряд в системе словообразования. – Днепропетровск, 2006. – 304 с. ⁹ Условия, которым должно отвечать лингвистическое поле, сформулированы в работах П. А. Соболевой. См.: Соболева П. А. Transformations as a Semantic tool of studying natural languages // Foundations of language. – 1965. – № 1. – р. 290–291; Шаумян С. К., Соболева П. А. Основания порождающей грамматики русского языка. – М., 1968. – С. 299 (378 с.); Словообразовательная полисемия и омонимия. – М., 1980. – С. 68–70. ¹⁰ Соболева П. А. Словообразовательная полисемия и омонимия. – М., 1980. – С. 3–5; С. 68–70. ¹¹ Соболева П. А. Указ. соч. – С. 3–10. ¹² Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. – М., 1984. – 352 с. ¹³ Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. – К., 1986. – 222 с. ¹⁴ Там же. – С. 3–4. ¹⁵ Идея рассматривать паронимы в кругу многих лексико-семантических явлений была высказана Ш. Балли, назвавшим впервые паронимы термином “псевдоомонимы” [См.: Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М., 1955. – С. 193]. Современные исследователи в области лексикологии, развивая идею Ш. Балли, относят паронимы к явлениям, смежным с синонимией, антонимией и омонимией, на том основании, что такое рассмотрение должно выявить специфические черты паронимии, а это в свою очередь позволяет установить реальные закономерности функционирования паронимов в речи. Конкретизируя это положение, можно рассмотреть паронимию в семантическом плане, выяснить взаимозависимость и соотношение паронимии $\wedge$ синонимии, паронимии $\wedge$ многозначности, паронимии $\wedge$ омонимии, паронимии $\wedge$ антонимии, а также определить в конечном итоге пути исследования паронимии в семантико-ассоциативном плане.

А. В. Петров (Симферополь)

**МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале терминов-субстантивов с глагольной основой)**

В дериватологии наименее изучены многокомпонентные единицы, состоящие более чем из двух основ или слов, функционирующие в различных терминосистемах. В русском языке создание многокорневых образований активизировалось со второй половины XX века, что было обусловлено бурным развитием науки и техники¹.

Цель статьи – выявить модели многокомпонентных сложных субстантивов с глагольной основой в русском языке. Источником материала для исследования послужили серии выпусков “Новое в русской лексике. Словарные материалы” (далее НРЛ), а также Интернет-ресурсы.

С изучением многокомпонентных композитов связаны проблемы глубины и длины слова. Глубина слова понимается как количество морфем в слове, безотносительно к тому, как эти морфемы расположены; длина слова определяется количеством слогов². Как отмечают ученые, объем восприятия длины и глубины слов равен объему оперативной памяти человека.

Так, В. Ингве пришел к выводу о том, что ограниченный объем оперативной памяти человека влияет на структуру языка. Исследователь установил, что в языке ограничено развертывание структур в препозиции, длина препозитивных структур в английском предложении равняется 4–5 единицам³. Аналогично нанизывание компонентов сложного слова происходит в препозитивной части. По мнению Н. Ф. Клименко, в сложных словах украинского языка максимальная граница характеризуется четырьмя единицами: *кінофотофонодокумент, радіофототелеграф, стереофотограмметрія*⁴. Пять компонентов наблюдается в составе аббревиатур, ср.: *Глав/элеватор/мель/комплект/снаб – Главное управление по комплектованию и материально-техническому снабжению мельничных, крупных, комбикормовых предприятий и элеваторов*.

К многокомпонентным композитам лингвисты обращались в связи с изучением вопросов о длине морфемной структуры слова и об оптимальной длине и оптимальной структуре термина. В. М. Лейчик отмечает, что “длина и структура термина определяется длиной и структурой лексических единиц, преобладающих в данном языке в данную эпоху. В современном русском языке – это корневые, производные и сложные слова, сочетания существительных с определением и дополнением”⁵. И. С. Улуханов считает, что длина слова может быть фактором, влияющим на степень системности и нормативности слов: “Хотя норма слогов и фонем в словоформе жестко не определена, образование, сильно превышающее их среднее количество, следует расположить на шкалах системности и нормативности ближе к несистемности и ненормативности”⁶. Изучение проблемы глубины и длины композитов является отдельной темой исследования.

Тенденции в развитии структуры сложных многокомпонентных терминов определила З. М. Осипенко. Исследователь обратила внимание на 1) последовательное нанизывание компонентов: *управление – телеуправление – радиотелеуправление*; 2) присоединение к композиту той или иной основы: а) композит со связанным опорным компонентом: *воздуходувка – тепловоздуходувка*, б) композит со свободным опорным компонентом: *строитель паровозов – паровозостроитель*; 3) объединение в составное слово а) простой единицы и композита: *дизель-электроход* и б) двух композитов: *микрометр-глубиномер*⁷.

В приведенной классификации не учтены отмеченные в “Русской грамматике” (1980 г.) случаи, когда основы многокомпонентных образований, предшествующие опорному компоненту, находятся между собой в сочинительных отношениях: *корнеклубнемойка, плодоовощесушилка*⁸.

Активизация многокомпонентных композитов в научном стиле обусловлена экстра- и интралингвистическими факторами.

Экстралингвистические факторы отражают появление: а) новых технических, транспортных средств, механизмов, разнообразных предметов бытовой техники: *патрон-воздухоочиститель* (НРЛ-85), *автоприцеп-холодильник* (НРЛ-91), *гидроветростанция* (НРЛ-91), *топливомаслозаправщик*; б) новых профессий, занятий: *газонефтестроитель* (НРЛ-91), *метеоролог-активщик* (НРЛ-85), *оператор-биолокационный* (НРЛ-91), в) новых материалов, предметов: *баровысотомер* (НРЛ-88), *холодильник-*

фруктохранилище (НРЛ-88), газошлакозобетон, газопенозобетон; пароконденсатопровод (НРЛ-85); г) новых технологий, отраслей производства, медицинских процедур: аэрогаммастемка, грязеглино-торфолечение, гелиотермообработка (НРЛ-91).

К собственно лингвистическим факторам, на наш взгляд, относятся следующие.

1. Сложное слово, будучи многоосновным, конденсирует в себе *большую* информацию, чем простое, сохраняя при этом свою компактную форму. В силу действия закона языковой экономии цельнооформленность лексической единицы предпочтительнее многоэлементным терминам-словосочетаниям. “В отличие от терминосочетаний, где доминирует семантическая изолированность”⁹, в сложном слове происходит сфокусированность семантики на гипониме и гиперониме.

2. Возрастает агглютинативность в семантике производного слова, что проявляется, например, в свободном “склеивании” основ. В этот процесс включаются как исконные, так и заимствованные основы, усиливаются комбинаторные особенности “склеивающихся” основ, что приводит к четкости и легкости выделения таких основ (терминоэлементов) в составе производных (ср. *гастрофиброскопия*). В результате, как отмечает Н. Ф. Клименко, появляются основы-классификаторы и основы-идентификаторы¹⁰.

3. Наблюдается дальнейшая активизация греко-латинских термоэлементов, которые становятся незаменимыми при конструировании новых терминов, в силу чего приобретают признаки универсальности (ср. *гелиоэлектротеплоснабжение*, *аэрогелиоталассотерапия*). По мнению В. П. Даниленко, “преимущество в использовании греко-латинских терминоэлементов и в том, что их словообразовательные возможности практически структурно не ограничены. С их помощью путем простого присоединения легко создаются составные наименования во многих отраслевых терминологиях: *спациоэлектрокардиограф*, *ультрасонкардиоскоп*...”¹¹.

4. Аббревиатурные модели сближаются с моделями слово- и основосложения, образуются наполовину аббревиатурные – наполовину композитные производные. На границах основ появляется соединительный гласный, что характерно для основ *вибро-* ← *вибрационный* (*вибробетоном*, *вибробетонмешалка*); *социо-* ← *социальный* (*социопсихолингвистика*, *социоэкосистема*); *термо-* ← *термический* (*гидротермообработка*, *термоэлектробатарея*); *техно-* ← *технический* (*техноэкосистема*, *геотехносфера* и *техногеосфера*); *электро-* ← *электрический* (*электротермометрия*, *электротехмонтаж*) и др.

Среди многокомпонентных субстантивов выделяются композиты и юкстапозиты.

Многокомпонентные композиты

С точки зрения способа образования композиты подразделяются на две разновидности: а) образованные при помощи сложения основ и суффиксации и б) образованные в результате чистого сложения.

Внутри композитов, образованных при помощи сложения основ и суффиксации, можно выделить следующие модели: $N+o/e+N+o+V+-k(a)$: *водомаслогрейка* (греть воду и масло), *жиропескостовка*, *конопленоповязалка*, *соломосилосорезка*, *корнеклубнорезка* и др.; $N+o+N+o+V+-ij-$: *маслосыродение* (делать сыр и масло); $N+o+N+o+V+-enij-$: *машиноприборостроение* (строить приборы и машины) и др.; $ч/N+N+o+V+-enij-$: *автотракторостроение* (строить автомобили и тракторы); $N+o+N+o+V+-щик-$: *водомаслозаправщик*, *топливомаслозаправщик* и др.; $N+o/e+N+o+V+-\emptyset-$: *гайковинтоверт*, *корнеклубнорез*, *нефтегазопровод*, *снегоболотоход*, *углерудовоз* и др.; $N_{\text{комполит}}+o+V+-enij-$: *гидротурбостроение* (строить гидротурбины), *турбокотлостроение* (строить турбокотлы), *электроаппаратостроение*; препозитивный композит может быть и трехкомпонентным: *газотурбовозостроение*, *гидросамолетостроение*; $N_{\text{комполит}}+o+V+-k(a)$: *корнеплодорезка* (резать корнеплоды); $N_{\text{комполит}}+o+V+-\emptyset-$: *газотурбовоз* (приходить в действие при помощи газотурбины), *газотурбоход*, *паротурбовоз* и др.

Многокомпонентные композиты, образованные основосложением с суффиксацией, не так многочисленны, концентрируются в отдельных гнездах, например, с вершинами *везти*, *вертеть*, *резать*, *строить*, *ходить*. Единичные производные представлены в гнездах с вершинами *греть*, *делать*, *ловить*. Композиты развивают процессуальное значение или значение орудия, средства действия. Зафиксированы единичные примеры со значением субъекта (*клеямыловар*) и места действия (*бензозаправщик*). В производных моделях $N+o+N+o+V+-k(a)$, $N+o+N+o+V+-ij-$, $N+o+N+o+V+-enij-$, $N+o+N+o+V+-\emptyset-$, $N+o+N+o+V+-щик-$ препозитивные основы находятся между собой в сочинительных отношениях, исключение наблюдается в композите *конопленоповязалка* (вязать коноплю в снопы).

Композиты моделей $N+o+N+o+V+-k(a)$, $N+o+N+o+V+-ij-$, $N+o+N+o+V+-enij-$, $N+o/e+N+o+V+-\emptyset-$ имеют общий “индикатор валентности” (Е. Л. Гинзбург), который соответствует объектной позиции. Закономерность нарушается в производных с опорным компонентом *-заправщик* (препозитивные

основы представлены валентностями средства действия) и в композите *снегоболотоход*, препозитивные основы которого объективируют валентности места действия.

В языке является многочисленной группа композитов с опорным компонентом *-провод*, однако многокомпонентных производных с сочинительными отношениями препозитивных основ зафиксировано немного (ср.: *газонефтепровод*, *паротеплопровод*, *теплопаропровод*). Новообразованиями являются многокомпонентные единицы с актуализировавшимся индикатором валентности 'при помощи чего': *бензотрубопровод*, *нефтетрубопровод*, *паротрубопровод*, *газотрубопровод*, а также *нефтегазотрубопровод* и *газонефтетрубопровод*.

Композиты, образованные в результате чистого сложения, представлены следующими меделами: N+o/e+N+o/e+N: *водогрязелечение* (лечение грязью и водой), *корнеклубнемойка*, *корнеклубнемаялка*, *плодоовощесушилка*; N+o/e+N+N: *звуковидеозапись*; N+N+N: *аудиовидеозапись*, *видеокинозапись*, *радиокиноустановка*; N+o/e+N+o/e+N+o/e+N: *газоводонефтенасыщение* (насыщение нефтью, водой и газом); ч/N+N+o+N: *автотракторостроитель*; N+o+N_{комполит}: *газовоздуходувка* (воздуходувка, приводимая в действие доменным газом), *гелиоводонагреватель*, *аэрофотосъемка*, *рентгенокиносъемка*; N+N_{комполит}: *штангенглубиномер*, *радиоосадкомер*, *радиоуровнемер*, *радиолетопись*; N_{комполит}+o+N: *корнеплодомаялка* (маялка для корнеплодов), *электромашиностроитель*, *электросталеплавление*; N_{комполит}+o+N_{комполит}: *газотурбовоздуходувка* (воздуходувка, приводимая в действие газотурбиной), *газотурбозлектровоз*, *электровиброокраскораспылитель*; N_{комполит}+o+N+o+N: *электросветоводолечение* (лечение при помощи воды и электро света); N+o+N_{комполит}+o+N: *растворокерамзитобетонемешалка* (мешалка для перемешивания раствора и керамзитобетона).

В многокомпонентных образованиях отражается значение опорного слова мотиватора. Регулярными являются процессуальные значения (*газодымозащита*, *маслосыроварение*) и значения орудия действия (*нефтемусоросборщик*, *пламеискрогаситель*). Эти значения покрывают единицы всех выделенных моделей. Значения субъекта, места и результата действия в многокомпонентных субстантивах единичны.

Ведущей моделью является модель N+o/e+N+o/e+N. Между препозитивными основами композитов наблюдаются сочинительные отношения, исключение составляют производные в гнезде с вершиной *защитить*: *пылевзрывозащита* (защита от взрыва угольной пыли), аналогично *газовзрывозащита*, *искровзрывозащита*.

С помощью моделей N+o/e+N+N, N+o/e+N+o/e+N+o/e+N, N_{комполит}+o+N+o+N и N+o+N_{комполит}+o+N образуются отдельные многокомпонентные субстантивы.

Четырехкомпонентные единицы выявлены внутри моделей N+o/e+N+o/e+N+o/e+N (*грязеглинофорфолечение*, *золошлакошламоотвал*), N+o+N (комполит) (*гелиоэлектротеплоснабжение*, *гидропылевзрывозащита*), N_{комполит}+o+N (*гидросамолетостроитель*) и N_{комполит}+o+N_{комполит} (*газотурбозлектровоз*).

Фактический материал свидетельствует об активизации аббревиатурных моделей в образовании многокомпонентных субстантивов. Различные модели универбализации словосочетаний выделены и описаны в работах В. И. Теркулова¹². Применительно к анализируемому материалу актуальными являются следующие модели (в схемах используются обозначения: ч – часть основы А – адъективной, N – субстантивной):

ч/А+o+N_{комполит}: *вибро-* ← *вибрационный* (*вибробетонемешалка*, *виброгрунтонос*), *пневно-* ← *пневматический* (*пневмозолоудаление*, *пневмогайковерт*), *турбо-* ← *турбинный* (*турбозлектроход*, *турбопаровоз*), *электро-* ← *электрический* (*электросучкорезка*, *электрогазоочистка*); в отдельных случаях представлена основа *космо-* ← *космический* (*космофотосъемка*). Реже постпозитивной основой является трехкомпонентный композит: *виброгазобетонемешалка*, *пневмогидрозолоудаление*; ч/А+N_{комполит}: *авиа-* ← *авиационный* (*авиагрузоперевозки*, *авиалесоохрана*), *авто-* ← *автоматический* (*автосамосвал*, *автошлаковоз*), *авто-* ← *автомобильный* (*автогрузоперевозки*), *агит-* ← *агитационный* (*агитвертолет*, *агитпароход*), *мото-* ← *моторизованный* (*мотогазонокосилка*, *мотобетонолом*), *стерео-* ← *стереоскопический* (*стереовидеосъемка*, *стереокиносъемка*), *теле-* ← *телевизионный* (*телекиносъемка*), *фото-* ← *фотографический* (*фотокиносъемка*); зафиксированы также отдельные четырехкомпонентные образования типа *мотоснегоболотоход*, *стереофотокиносъемки*; ч/N+N+N: *телерадиовещание*, *телерадиопередача*, *телерадиопостановка*; ч/N+ч/N+N: *автомотовладелец*, *автомотогонки*; ч/N+o/e+N+o/e+N: *радикулогрязелечение*, *гальваногрязелечение*; ч/А_{комполит}+N: *агропромобъединение* ← *аграрно-промышленное объединение*, *газозлектросварка* ← *газозлектрическая сварка*; ч/N+ч/N+N_{комполит}: *автомотозлектрооборудование* ← *электрооборудование для автомобилей и мотоциклов*.

Фактический материал свидетельствует о том, что значительное количество лексических единиц образуется по моделям ч/А+o+N_{комполит}, ч/А+N_{комполит}; единичные образования зафиксированы внутри моделей ч/N+o/e+N+o/e+N, ч/N+N+N, ч/А_{комполит}+N и ч/N+ч/N+N_{комполит}.

Данный материал также подтверждает отмеченную закономерность об отражении в многокомпонентных единицах значений процесса или орудия действия.

Отдельные единицы со значением субъекта действия образованы при помощи модели $\text{ч/N}+\text{ч/N}+\text{N}$ (*автомотолубитель*); в то же время значение субъекта действия может быть вторичным, ср.: *авиагрузоперевозчик* ← *авиагрузоперевозки*, *газоэлектросварщик* ← *газоэлектросварка*.

Многокомпонентные юкстапозиты

Юкстапозиты подразделяются на двух- и трехчленные единицы. В свою очередь двухчленные юкстапозиты могут состоять из трех, четырех и пяти компонентов.

Двухчленные юкстапозиты

Среди трехкомпонентных юкстапозитов выделяются производные, образованные по моделям $\text{N}+\text{N}$ (композит двухкомпонентный) и N (композит двухкомпонентный)+ N .

В юкстапозитах модели $\text{N}+\text{N}$ (композит двухкомпонентный) продуктивными являются семемы **баржа** (*баржа-бензиновоз*, *баржа-сухогруз*), **бомбардировщик** (*бомбардировщик-ракетоносец*, *бомбардировщик-торпедоносец*), **катер** (*катер-бензозаправщик*, *катер-торпедолов*), **корабль** (*корабль-авианосец*, *корабль-мусоросборщик*), **крейсер** (*крейсер-авианосец*, *крейсер-вертолетоносец*), **судно** (*судно-китобоец*, *судно-трубоукладчик*), **танкер** (*танкер-водолей*, *танкер-газовоз*), **вагон** (*вагон-путеизмеритель*, *вагон-самосвал*), **машина** (*машина-снегокат*, *машина-мостовукладчик*), **плуг** (*плуг-канавокопатель*, *плуг-снегопах*), **растение** (*растение-полупаразит*, *растение-торфообразователь*), **робот** (*робот-автомат-оператор*, *робот-многостаночник*), **цистерна** (*цистерна-водохранилище*, *цистерна-полуприцеп*), **фильтр** (*фильтр-влагоотделитель*, *фильтр-жироуловитель*), **шлюз** (*шлюз-вододелитель*, *шлюз-плотоход*), **агроном** (*агроном-овощевод*, *агроном-семеновод*), **слесарь** (*слесарь-трубоукладчик*, *слесарь-электромонтажник*), **специалист** (*специалист-градостроитель*, *специалист-киномеханик*), **техник** (*техник-землеустроитель*, *техник-маслодел*), **ученый** (*ученый-музыковед*, *ученый-теплотехник*).

В юкстапозитах модели N (композит двухкомпонентный)+ N продуктивность проявляют семемы **вертолет** (*вертолет-амфибия*, *вертолет-тральщик*), **ледокол** (*ледокол-паром*, *ледокол-база*), **самолет** (*самолет-буксировщик*, *самолет-корректировщик*), **телефон** (*телефон-проектор*, *телефон-браслет*), **угломер** (*угломер-квадрант*, *угломер-линейка*), **водолаз** (*водолаз-разведчик*, *водолаз-сварщик*), **почвовед** (*почвовед-мелиоратор*, *почвовед-физик*), **электротехник** (*электротехник-энергетик*, *электротехник-наладчик*).

Четырехкомпонентные юкстапозиты имеют модели $\text{N}+\text{N}$ (композит трехкомпонентный) (*агроном-плодоовощевод*, *жатка-конопленоувязалка*, *фильтр-влагомаслоотделитель*) и N (композит двухкомпонентный)+ N (композит двухкомпонентный) (*вышкомонтажник-электромонтер*).

В юкстапозитах модели N (композит двухкомпонентный)+ N (композит двухкомпонентный) продуктивными являются семемы **автомобиль** (*автомобиль-бензозаправщик*, *автомобиль-лесовоз*), **вертолет** (*вертолет-конвертоплан*, *вертолет-фоторазведчик*), **полуприцеп** (*полуприцеп-зерновоз*, *полуприцеп-самосвал*), **самолет** (*самолет-авианосец*, *самолет-картограф*). Разновидностью модели являются производные с совпадающей начальной частью *полу... полу...* (*полудерево-полукуст*, *полуволок-полусобака*, *полушкаф-полустеллаж* и др.). Прерывистая часть *полу... полу...* является “новой разновидностью прерывистого форманта”¹³.

Юкстапозиты с препозитивным компонентом *автомобиль* в результате усечения второй части преобразуются в композиты-аббревиатуры: *автомобиль-топливозаправщик* → *автотопливозаправщик*, *автомобиль-газозаправщик* → *автогазозаправщик* и др.

Юкстапозиты уточняют также профессии: *судостроитель-судоремонтник*, *газорезчик-вышкомонтажник*, *вышкомонтажник-электромонтажник* и др.

Пятикомпонентные юкстапозиты имеют модель N (композит трехкомпонентный)+ N (композит двухкомпонентный): *гидросамолет-торпедоносец*, *корнеклубнемойка-корнерезка* и N (композит двухкомпонентный)+ N (композит трехкомпонентный): *вышкомонтажник-газоэлектросварщик*.

Трехчленные юкстапозиты

И. Г. Галенко обратила внимание на то, что “атрибутивные сближения, как правило, двукомпонентные (в нашей терминологии двухчленные. – А. П.), но изредка встречаются и трехкомпонентные типа *инженер-конструктор-механик*, разбивающиеся, подобно двукомпонентным, на две основные части (определяемую и определяющую)”¹⁴.

Трехчленные юкстапозиты имеют следующие модели: $\text{N}+\text{N}+\text{N}$ (*архитектор-дизайнер-ландшафтник*, *монтер-кабельщик-спайщик*), $\text{N}_{\text{композит}}+\text{N}_{\text{композит}}+\text{N}_{\text{композит}}$ (*автомобиль-контейнеровоз-самопозволок*), $\text{N}+\text{N}_{\text{композит}}+\text{N}_{\text{композит}}$ (*жук-дровосек-корнеед*), $\text{N}+\text{N}_{\text{композит}}+\text{N}$ (*жук-мертвоед-пещерник*, *врач-биохимик-лаборант*), $\text{N}+\text{N}+\text{N}_{\text{композит}}$ (*ельник-черничник-зеленомошник*, *инженер-электрик-слаботочник*).

Наиболее распространенными являются трехчленные юкстапозиты модели N+N+N, которые конкретизируют профессию (*летчик-испытатель-методист*, *плотник-мозаичник-облицовщик*), воинское звание (*генерал-лейтенант-инженер*, *капитан-лейтенант-инженер*), орудие (*бомбардировщик-истребитель-невидимка*, *косилка-подборщик-измельчитель*), предметы мебели (*шкаф-секретер-кровать*).

Деривационно активными являются семемы, называющие специальность, например, такие, как **инженер** (*инженер-строитель-проектировщик*, *инженер-техник-технолог*), **техник** (*техник-математик-программист*, *техник-механик-конструктор*), **слесарь** (*слесарь-котельщик-монтажник*, *слесарь-монтажник-ремонтник*).

Единичными являются четырехчленные образования типа *косилка-подборщик-измельчитель-погрузчик*.

Промежуточную группу между сложным словом и описательным наименованием составляют конструкции типа *техник-смотритель зданий*, *техник-механик сцены*, *тренер-мастер спорта*, *завод-изготовитель счетных машин*, *самолет-носитель ракет*, *женщина-профессор этнографии*, *женщина-ученый секретарь* и др. Цельнооформленности номинативного комплекса способствуют аббревиатуры: *ИК-светосинхронизатор* ← *инфракрасный светосинхронизатор*, *ИК-телескоп-спектрометр* ← *инфракрасный телескоп-спектрометр*.

Таким образом, в результате исследования мы пришли к следующим выводам.

1. Многокомпонентные субстантивы могут быть результатом осново- и словосложения.
2. Существуют регулярные и нерегулярные модели основосложения и словосложения.
3. В сложных словах максимальная граница характеризуется четырьмя единицами (исключения наблюдаются в аббревиатурах).
4. Многокомпонентные субстантивы, образованные в результате основосложения, передают значения процесса или орудия действия.
5. При образовании многокомпонентных субстантивов активизируются аббревиатурные модели.

¹ Воронцова К. Б. Продуктивность и новые качества сложных имен существительных в современном русском языке (на материале словарей): Автореф. дис. ... к. филол. наук. – Иркутск, 1962. – С. 14. ² Москович В. А. Глубина и длина слов в естественных языках // Вопросы языкознания. – 1967. – № 6. – С. 18. ³ Ингве В. Гипотеза глубины // Новое в лингвистике. – М., 1965. – Вып. 4. – С. 127. ⁴ Клименко Н. Ф. Основы морфеміки сучасної української мови. – К., 1998. – С. 154. ⁵ Лейчик В. М. Оптимальная длина и оптимальная структура термина // Вопросы языкознания. – 1981. – № 2. – С. 67. ⁶ Улуханов И. С. О причинах, влияющих на степень системности и нормативности языковых единиц // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – Т. 50. – № 4. – М., 1991. – С. 295. ⁷ Осипенко З. М. Тенденції розвитку структури складних науково-технічних термінів у сучасній російській мові // Словотвірна семантика східнослов'янських мов. – К., 1983. – С. 161. ⁸ Русская грамматика. – Т. 1. – М., 1980. – С. 246. ⁹ Колесникова І. А. Дієприкметники-композиції у термінології // Система і структура східнослов'янських мов. – К., 2004. – С. 50. ¹⁰ Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К., 1984. ¹¹ Даниленко В. П. О терминологическом словообразовании // Вопросы языкознания. – 1973. – № 4. – С. 82. ¹² Теркулов В. И. Опыт и номинатема: опыт комплексного описания основной номинативной единицы языка. – Горловка, 2007. ¹³ Николаев Г. А. Активные процессы в современном русском словообразовании // Международный научный симпозиум “Славянские языки и культуры в современном мире”. – М., 2009. – С. 119. ¹⁴ Галенко И. Г. О некоторых особенностях составных слов // Вопросы русского языкознания. – Кн. 4. – Львов, 1960. – С. 72.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Г. В. Петрова (Санкт-Петербург)

**“СТАНУ БУЙСТВА Я ЖИЗНИ ЖИВЫМ ОТГОЛОСКОМ”
(В. Я. Брюсов и А. А. Фет)**

О том, что поэзия старших символистов-декадентов 1890-х гг., одним из ярчайших представителей которой был В. Я. Брюсов, наследует поэтической традиции Фета, говорилось много и обнаруживалось еще первыми критиками. Выделяя общий для всех символистов период подражательности Фету, исследователи отмечали, что ученичество “новых” поэтов у Фета шло по преимуществу по линии лирической пейзажности¹.

В лирике Брюсова действительно выделяется огромное количество цитат, аллюзий и разного рода перифразов из “пейзажей” Фета. Однако отметим, что многообразие фетовских вкраплений в текст стихотворений Брюсова само по себе еще не есть свидетельство следования художественной традиции поэта-предшественника. Собственно с признаниями Брюсова, с его высказываниями о Фете, как и с открытыми обращениями в поэзии к лирическому наследию Фета надо быть предельно аккуратными².

В случае Брюсова требуется различать, где собственно Фет для него выступает в качестве мифологизированной фигуры “предтечи символизма”, а где – сказывается художественное влияние Фета на Брюсова. Так, активно используемые эпиграфы из Фета в стихах Брюсова первой половины 1890-х гг. (напр., в стихотворении “Вечер”, “Эпиталама” и др.) оказываются своеобразными “поэтическими аналогами” эстетических и мировоззренческих тезисов символизма и не более³.

При этом следует отметить, что на протяжении всей творческой биографии Брюсов воспринимал Фета и глубоко лично. Доказательством этой мысли является вполне неожиданное следование Брюсова за Фетом в заглавии небольшого стихотворения 1896 г. “СОФИИ С., подарившей мне лепесток розы”. Нельзя усомниться в том, что в данном случае брюсовское заглавие непосредственно восходит к фетовской традиции заглавия. В 3-м и 4-м выпусках “Вечерних Огней” Фета целый ряд стихотворений, которые современной Брюсову критикой назывались “альбомным сором”⁴, имеют весьма характерное заглавие: “Е. С. Х – й (при получении от нее пышного букета цветной капусты)”; “Графине Александре Андреевне Олсуфьевой при получении от нее гиацинтов”, “Ек. Серг. Х – ой (приславшей мне цветы)”.

Брюсов вообще был склонен сближать свою творческую судьбу с судьбой Фета. Это скрытое сопряжение обозначено еще в раннем стихотворении Брюсова “Давно ли в моем непокорном уме...” (1895 г.), в котором обнаруживается связь со знаменитой поэтической декларацией Фета “Светоч”. А в 1918 г. Брюсов напишет стихотворение “О, фетовский, душе знакомый стих...”, анализ автографа которого приводит к несколько неожиданному выводу:

*О, фетовский, душе знакомый стих,
Как он звучит ласкательно и звучно!
Сроднился он с движеньем дум моих.
Ряд образов поэта неразлучно*

*Живет с мечтой, и я лелею их
В тревогах жизни, бледной и докучной;
И мило мне их нынче воскресить
Вплетая в ткань мою чужую нить.*

*Лишь повторяю ряд этих слов – мгновенно
Прошедшее пред памятью встает.
Всегда бывшее сердцу драгоценно
И стих любимый связан неизменно
С былыми днями счастья и забот.*

В автографе следует перебор имен ⁵:

*Знакомый стих невольно душу <нрзб.>
Некрасов
пушк
О, Пушкинский, душе знакомый стих
О Лермонтова <нрзб.>
О Баратынский*

Только с выходом на определение “знакового стиха” как “фетовского”, стихотворение получило у Брюсова свое разрешение.

В этой связи можно вспомнить и события празднования юбилея Брюсова в 1924 году, о котором И. Н. Розанов вспоминал: “Юбилей Брюсова в Академии художественных наук. <...> Вспомнил и как поразила меня ответная речь Брюсова, начинавшаяся строчками Фета:

*Нас отпевают. В этот день
Никто не подойдет с хулою
<...>*

закончил свою речь четверостишием, которое из всего Фета самое мое любимое:

*Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятн отовсюду”*
(ЛН, 769–770).

В связи с этим стоит обратить внимание на сам механизм использования Брюсовым фетовских образов. Обратимся к одному из ранних его стихотворений “Туман” (1896 г.).

*Пьяные лица и дымный туман ...
В дымке туманной лепечет фонтан.
Отзвуки смеха и грубый вопрос ...
Блещут на лилиях отблески рос.
Клонятся красные губы ко мне ...
Звезды бесстрастно плывут в вышине.*

О том, что “Туман” содержит определенный фетовский элемент было заявлено В. В. Мусатовым, который писал, что Брюсов, пересматривая “привычные представления о добре и зле, красоте и безобразии”, “вступает в конфликт как с традицией XIX века, так и с эстетическими вкусами читателя, сформированными ею <...> Лепет фонтана, отблески росы на лилиях, звезды – все это образы, хорошо знакомые читателю по лирике XIX века и прежде всего – по стихам Фета, в которых мир представал гармонически-прекрасным” ⁶.

Между тем, отметим, что это стихотворение Брюсова не “прежде всего” апеллирует к образности Фета, как варианту художественной традиции XIX века, оно принципиально фетовское. В данном случае мы можем установить совершенно очевидный ряд фетовских претекстов, к которым восходит поэтическая образность Брюсова: “Дымка туманная” – из стихотворений Фета “Когда мои мечты за гранью прошлых лет ...” (“Когда мечты мои за гранью прошлых дней / Найдут тебя опять за дымкою туманной ...”) и “С. П. X – о” (“Еще пред дымкою туманной / Как очарованный стою ...”); “лепечущий фонтан” восходит к стихотворению Фета “Устало всё кругом: устал и цвет небес ...” (“Лепечет лишь фонтан среди дальней темноты / О жизни говоря незримой, но знакомой ...”); для образа блещущих “на лилиях отблесков роз” в качестве ближайшего претекста можно назвать стихотворение Фета “Купальщица” (“Так пышут холодом на утренней росе / Упругие листы у лилии стыдливой ...”); образ же бесстрастных звезд восходит к фетовским “немигающим звездам” (“Эти звезды кругом точно все собрались, / Не мигая, смотрят в этот сад ...”) и равнодушным, “безмолвным” звездам из стихотворения “Молятся звезды, мерцают и рдеют ...”.

Наконец, у Фета есть строфа, которая может быть названа источником самой образной системы, используемой Брюсовым. Речь идет о финале IV части (“Вчерашний вечер помню живо ...”) цикла “Romanzero”:

*Но не томлюсь среди тумана,
Меня не давит мрак лесной
Я слышу плеск живой фонтана
И чую звезды над собой.*

Брюсову вообще было свойственно обращаться не к определенным фетовским мотивам и темам, а самостоятельно разрабатывать ту или иную образную ситуацию, возникающую в стихах Фета. Что видимо и заставило говорить Вл. Соловьева об этой лирике как “пародии” на Фета ⁷. Так, в стихотворении “Я бы умер с тайной радостью ...”:

*Я бы умер с тайной радостью
В час, когда взойдет луна.
Овекает странной сладостью
Тень таинственного сна.
Беспредельным далям преданный,
Там, где меркнет свет и шум,
Я покину круг изведанный
Повторенных слов и дум.
Грань познания и жалости
Сердце вольно перейдет,
В вечной бездне, без усталости,
Будет плыть вперед, вперед.
И все новой, странной сладостью
Овекает призрак сна ...
Я бы умер с тайной радостью
В час, когда взойдет луна.*

происходит трансформация образности стихотворения Фета “На корабле”.

*Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.*

*Дрожит и сердце, грудь заныла;
Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Когда невидимая сила
Ее неволей унесла.*

*Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.*

Эта же ситуация наблюдается и в стихотворении “Кончено! кончено! Я побежден ...”:

*Кончено! кончено! Я побежден.
– Смейтесь!
Погас, погас весенний сон ...
Листья осенние, вейтесь!
Медленно всходит былая луна,
Всходит ...
Горит в огнях, горит волна;
Челнок опрокинутый бродит.
Утром наляжет на ропотный лес
Иней,
И, все в крови, – укор небес –
Солнце взойдет над пустыней ...*

генетически восходящем к образности стихотворения Фета “После бури”:

*Пронеслась гроза седая,
Разлетевшись по лазури,
Только дышит зыбь морская,
Не опомнится от бури.
Спит, кидаясь, челн убогой,
Как больной от страшной мысли,
Лишь забытые тревогой
Складки паруса обвисли.*

*Освеженный лес прибрежный
Весь в росе, не шелохнется, –
Час спасенья, яркий, нежный,
Словно плачет и смеется.*

Однако, на наш взгляд, дело вовсе не в том, что Брюсов “пародирует” Фета и в его лице “профанирует” систему поэтических ценностей русской классики XIX в. По отношению к Фету он сам выступает, как активный читатель-сотворец, читатель, в котором ряд фетовских образов активизирует восприятие и возбуждает фантазию, которая уже на основе иного, другого читательского душевного опыта, выстраивается в стройную картину.

Символисты, и в первую очередь Брюсов, настаивали на том, что им важно передать сам процесс рождения и развития душевного переживания. Так уже в предисловии к первому сборнику “Русские символисты” (1894 г.) Брюсов подчеркивал, что задача новой поэзии – передать тонкие, “едва уловимые настроения”⁸. Он же в письме к В. К. Станюковичу, поясняя основной смысл своей книги “SHEFS D’OEUVRE. Сборник стихотворений. (Осень 1894 – весна 1895)” (1895 г.), отметил, что прочитывать его лирику необходимо как “связный рассказ” о жизни души (ЛН, 738).

Передавать эту “жизнь души” Брюсов и учится у Фета.

При этом фетовская художественная концепция “душевного человека” ранним Брюсовым оказалась фактически сведена к идее противоречивого и драматического столкновения идеальных устремлений и страстной, стихийной природы человека.

Итоговая ранняя книга Брюсова “Me Eum Esse. Новая книга стихов” (1897 г.) была построена как раз на переживании конфликта между страстным, земным желанием и бесстрастным небом, холодной мечтой. Возвращаясь к стихотворению “Туман” отметим, что образное пространство его, строящееся на столкновении лепечущего фонтана и грубого пьяного смеха, туманной дымки и “дымного тумана” сигарет и т. д., собственно и является проводником диссонирующего душевного переживания поэта.

У Брюсова “неразрешимость” этого конфликта приводит героя к состоянию “безумия и мятежа”, возводимого к Фету. Не случайно, разбирая лирику З. Н. Гиппиус, Брюсов отдельно отмечал, что душа в изображении нового поэта, душа, прежде всего, “безумная и мятежная”, замечая одновременно, что “«безумный» – любимое слово Фета”⁹.

Учась у Фета созерцать не столько мир, сколько собственные душевные движения, символисты, и Брюсов в том числе, учились у него и “обнажать” человека, а фетовское обнажение “нервов и психических процессов” может быть поставлено в непосредственную связь с обнажением физиологических процессов в поэзии символистов. И дело не столько в том, что “Умер душевный человек и остался только физиологический”¹⁰, сколько в том, что и душевный человек Фета и “физиологический” Брюсова последовательно связаны.

Ни эротизм, ни экзотика сами по себе не являются аргументом в пользу конфликта Брюсова с фетовской традицией, в рамках которой уже произошла эротизация любовного переживания, о чем в свое время писала критика рубежа XIX – XX в., отмечая особую “лирическую дерзость” поэта.

Так стихотворение Фета “У окна” предсказывает брюсовскую экзотику.

*К окну прикинув головой,
Я поджидал с тоскою нежной,
Чтоб ты явилась – и с тобой
Помчаться по равнине снежной.*

*Но в блеск сокрылась ты лесов,
Под листья яркие банана,
За серебро пустынных мхов
И пыль жемчужную фонтана.*

*Я видел горный поворот,
Где снег стопой твоей встревожен,
Я рассмотрел хрустальный грот,
Куда мне доступ невозможен.*

*Вдруг ты вошла – я всё узнал –
Смех на устах, в глазах угроза.
О, как всё верно подсказал
Мне на стекле узор мороза!*

В стихотворении Фета, человек, прильнувший к морозному окну и охлаждающий пыл любовного переживания в ожидании возлюбленной, видит преображенную, под влиянием любовного чувства, экзотическую картину – он и она становятся героями иного мира, горной и лесной страны с яркими листьями банана, серебрищимся мхом, с хрустальным гротом. Невоплощенность любви, таким образом, компенсируется этой экзотической фантазией.

Думается, об этой же компенсации мы должны говорить и применительно к Брюсову, который и саму фетовскую позу “у окна” многократно использует в ранней лирике, особенно лирике “Chefs d’œuvre”: “У окна” (во 2 изд. в раздел “Будни”); “Хорошо одному у окна ...” (из раздела “Медитации”) и др.

Другое дело, что для Брюсова, человека иной культурной формации, стремящегося к максимально полному изображению душевных движений современного человека, оказывалось невозможным фетовское “исключение” из лирического мира всего, что могло быть связано с понятием “прозы жизни”. Земное, будничное, повседневное, “городское” (обратим внимание на то, что уже в ранних сборниках Брюсова появляются характерные разделы: “Будни”, “Повседневность”) – все это и есть те новые условия существования человека, которые определяют новый душевный опыт, требующий своего воплощения. О Брюсове необходимо говорить, как о поэте, идущем путем “заоевания” этой “прозы жизни”, привнесения ее в лирику.

В связи с этим сложилось вполне устойчивое представление о том, что к началу 1900-х гг. Брюсов совершенно отходит от каких-либо попыток использования фетовской поэтики¹¹, что лирика Брюсова рубежа XIX–XX вв., представленная книгами “TERTIA VIGILIA. Книга новых стихов. 1897–1900” (1900 г.); “URBI ET ORBI. Стихи 1900–1903” (1903 г.), “Στέφανος. Венок. Стихи 1903–1905 года”, осуществляется на довольно далеких от Фета путях.

Внешне, тематически это действительно так. В лирике Брюсова рубежа веков тенденция к цитированию Фета, использованию его образности сходит почти на нет. Лирика Брюсова концентрируется по преимуществу вокруг городской тематики и расширяется в сферу овладения социальной, культурной, исторической образностью.

А между тем именно в 1899–1900-х гг. обозначился “новый” и весьма напряженный интерес Брюсова к Фету-поэту, о чем свидетельствуют его письма и дневниковые записи. Вот одно из признаний в письме к А. А. Шестеркиной от 28 мая 1901 г.: “Я все воскресенье был на даче, у нас никого не было, писал, мирно гуляли по парку, читал Фета <...>” (ЛН, 630). На рубеже веков Брюсов близко общается с фетышистами П. Перцовым, Н. Чернуговым и таким образом, постоянно находится в кругу подчеркнутого внимания к Фету¹². К лету 1901 года относится и проповедование Брюсовым Фета “чете Мережковских”.

Этот новый этап отношения Брюсова к Фету оказался связан с переосмыслением художественной концепции поэта-предшественника.

Известно, что в конце 1890-х гг. Брюсов сам пережил определенный душевный переворот. По этому поводу Н. А. Богомолов, на основе анализа дневниковых записей Брюсова этой поры и его писем к И. Коневскому, И. Бунину, что “<...> у Брюсова формируется представление о существовании в мире не одной истины, а множества, и каждая имеет под собою определенные основания”¹³. Новое творческое кредо Брюсова: “Истин много, и часто они противоречат друг другу. Это надо принять и понять ... Да я и всегда об этом думал. Ибо мне было смешным наше стремление к единству сил, или начал, или истины. Моей мечтой всегда был пантеон, храм всех богов. Будем молиться и дню и ночи, и Митре и Адонису, Христу и Дьяволу. «Я» – это такое средоточие, где все различия гаснут, все пределы примиряются. Первая (хотя и низшая) заповедь – любовь к себе и поклонение себе. Credo”¹⁴.

Но важно так же и то, что и это свое новое “credo” Брюсов непосредственно свяжет с Фетом. В статье “Истины (начала и намеки)” (1901 г.) он будет писать о том, что поэт-Фет, обращен “в глубь души”. Дифференцируя в составе душевной жизни человека чувства поверхностные (внешние), яркие эмоции и страсти, и “глубинные чувства”, которые и есть “средоточие, где все различия гаснут и все пределы примиряются”, приближающие человека к сокровенной сущности бытия, Брюсов представляет Фета не столько поэтом романтических противоречий земного и идеального, сколько певцом этих “проникновенных” глубинных чувств. По мысли Брюсова, они в обычной жизни редко бывают ощутимы, и “открываются только в мгновениях”. Кроме того, им нет исхода в слове, они “безмолвны”. Поэту остается только фиксировать многообразные душевные мгновения, как великую ценность, содержащую истину.

Думается, определенное влияние на Брюсова оказал здесь Иван Коневской, который в 1900 году работал над исследованием, посвященным “мистическому чувству” в русской поэзии, где Фет был представлен как поэт боготворивший “лишь бесконечность сил, бездну, необъятную, количественную

сумму бытия”; как поэт “растворения личности, слияние ее с движением, волнением внешнего мира”¹⁵. Оттолкнувшись от мысли Коневского, Брюсов по-своему понял и объяснил феномен лирики Фета.

В лирике Брюсова рубежа веков действительно невозможно обнаружить тематического или мотивного следования “за Фетом”. Фетовская традиция здесь заявляет себя на уровне общего пафоса, представления об искусстве как “самоудовлетворении и самопостижении”, искусстве, ориентированном на закрепление всего многообразия мгновенных переживаний. “Что во мне есть, то истинно. Не человек – мера вещей, а мгновение” – утверждает теперь Брюсов.

Не случайно, еще в 1920-х гг. Л. В. Пумпянский заметил, что Брюсов понял и объяснил Фета глубже всех, а художественный мир его зрелой лирики, в первую очередь речь шла о лирике “Венка”, стал реализацией фетовского пафоса: “стану буйства я жизни живым отголоском”¹⁷.

¹ Об этом см.: *Мусатов В. В.* Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. – М., 1998. – С. 13–21. ² Так в одной из диссертаций последних лет (См. *Аторина О. Г.* А. А. Фет и русский символизм: К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, А. А. Блок, А. Белый. Дисс. ... к. филол. н. – Смоленск, 2005), исследовательница, указывая на особенности ранней рецепции Брюсова лирики Фета, обращается к стихотворению “Мрачной повиликой поросли кресты ...” (1893 г.), где обнаруживает прямое заимствование из стихотворения Фета “Влачась в бездействии ленивом ...”. Но, дело в том, что стихотворение Брюсова датировано 1893 г., а впервые в печати стихотворение Фета “Влачась в бездействии ленивом ...” было опубликовано только в составе ПСС Фета под ред. Никольского в 1901 г. При публикации этого стихотворения Никольский ориентировался на автограф, находящийся в фетовской Тетради № 1. Безусловно, при извечной неполноте исследования творческой биографии поэта, в том числе и Брюсова, мы можем упускать какие-то важные моменты формирования его поэтической натуры. Нельзя исключать возможности, что Брюсов мог если не быть знакомым с фетовскими рукописями в 1893 г. (известно, что позже на рубеже 1890–1900 гг. факт такого знакомства не подлежит сомнению), то хотя бы слышать это неопубликованное стихотворение Фета. Однако имеющиеся в нашем распоряжении сведения не позволяют говорить об этом. И несмотря на то, что ранняя лирика Брюсова действительно насыщена “перепевами” из Фета в данном случае факт рецепции может быть подвергнут сомнению. Может быть, рифма “повилика – земляника” не собственно литературного (хотя элемент литературности здесь присутствует, и связан с Пушкиным, который впервые ввел повилику в качестве поэтической реалии в тексты лицейских стихов “Блаженство” и послания “К Дельвигу” (последний был известен по книге Грота “Пушкин, его лицейские товарищи и наставники” (1887 г.)), а скорее, реального, бытового происхождения. Отметим, что и повилика, и земляника – растения по традиции связанные с кладбищами, о чем собственно и идет речь у Брюсова, но не у Фета. ³ Об этом см.: *Ханзен-Лёве А.* Русский символизм. – СПб., 1999. – С. 170. ⁴ См.: *Буренин В. П.* Критические очерки // Новое время. – 1890. – № 5308 (7 (19) декабря). – С. 2. ⁵ См.: *Литературное наследство.* Т. 85. Валерий Брюсов. – М., 1976. – С. 55–56. Далее по тексту ЛН с указанием страницы. ⁶ *Игошева Т. В., Мусатов В. В., Петрова Г. В.* История русской поэзии: “Серебряный век”. Лекционное приложение к мультимедийному курсу. – Великий Новгород, 2002. – С. 37. ⁷ См.: *Соловьев Владимир.* Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. – М., 1990. – С. 271. ⁸ *Маслов В. А.* [Брюсов В. Я.] От издателя // Брюсов В. Я. Собр. соч. В 7 тт. – М., 1975. – Т. 6. – С. 27. ⁹ *Русская литература XX века. 1890–1910* / Под ред. С. А. Венгерова. В 2-х кн. – М., 2000. – Т. 1. – С. 177. ¹⁰ *Розанов В. В.* Критические этюды. I. Декаденты. – СПб., 1904. – С. 7, С. 12, С. 15. ¹¹ См.: *Игошева Т. В., Мусатов В. В., Петрова Г. В.* Указ. соч. – С. 37. ¹² См.: *Брюсов Валерий.* Дневники. 1891–1910. – М., 1927. – С. 84, С. 102, С. 106, С. 112. ¹³ *Богомолов Н. А.* Университетские годы Валерия Брюсова: студенчество (1893–1899). – М., 2005. – С. 38. ¹⁴ Цит. по: *Там же.* – С. 54. ¹⁵ *РГАЛИ.* Ф. 259. Коневской (Ореус) Иван Иванович. “Самые общие начала понимания поэзии А. Толстого” ... и др. Статьи. Черновые наброски. Л. 4 об., 17. ¹⁶ *Брюсов В.* Сочинения. В 2 тт. – Т. 2. – М., 1987. – С. 53–55. ¹⁷ *Пумпянский Л. В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. – М., 2000. – С. 535.

Русистика

Вып. 11

Київ – 2011

С. И. Кормилов (Москва)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ В “НОВОМ МИРЕ” 1960-х ГОДОВ

Литературная критика советского общесоюзного журнала “Новый мир” 1960-х гг. довольно хорошо изучена: ей посвящены обширные воспоминания, опубликованные дневники, ряд статей и большая, но малодоступная монография Нелли Биуль-Зедгинидзе¹. В монографии прослежена история журнала, охарактеризована его общая проблематика, даны портреты ведущих критиков (с эволюцией), проанализированы наиболее значительные статьи, в том числе, конечно, вызвавшая острейшую полемику “самая знаменитая статья «эпохи Твардовского»”² – “Иван Денисович, его друзья и недруги” Владимира Лакшина (“Новый мир”, 1964 г., № 1). Подчеркнуто, что позиция этого автора “была характерна отнюдь не для одного Лакшина, но разделялась **целым направлением** в демократическом движении тех лет. Так, в статье «Эпизод из современной борьбы идей», опубликованной в девятом номере «Нового мира» за 1964 год, Юрий Карякин дал повести Солженицына ту же трактовку, что и Лакшин, определив «основную идею повести» как осуждение антинародности культа личности. В том же ключе, что и

Лакшин, интерпретировал он и тему труда и паразитизма в повести, отмечая, что «убеждение» «кто не работает, тот не есть» «в крови у трудящегося человека», является «кровным убеждением масс», на которое «опираются коммунисты в борьбе за построение истинно человеческого общества»; паразиты же являются порождением беззаконий времён культа личности (с. 232–233)”³. Но уже по этим внешне безоценочным высказываниям и цитатам видно, что автор книги, текст которой был защищен в качестве докторской диссертации в Женевском университете, склонен особенно педалировать историческую ограниченность советских “шестидесятников”.

Тем более приходится защищать “Новый мир” 60-х гг. от снобизма постсоветских критиков, не видящих никакой разницы между ним и тогдашним официозом⁴. Поскольку из “новомирской” критики собраны и переизданы лишь статьи В. Я. Лакшина, и то далеко не все⁵, полезно напомнить современным читателям о характерных текстах этой критики, в свое время оказавшей огромное влияние на пробуждение умов, на формирование нового общественного сознания.

А. Т. Твардовский возглавлял “Новый мир” дважды: в 1950–1954 и 1958–1970 гг. Первый раз он был снят с поста главного редактора за публикацию смелых, адогматических статей В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лифшица, М. Щеглова, появившихся вскоре после смерти Сталина и продемонстрировавших глубокий упадок всей официальной советской литературы, убожество сочинений расхваленных лауреатов Сталинской премии, которых в послевоенное десятилетие расплодилось великое множество⁶. Однако преемник Твардовского К. М. Симонов тоже был снят за публикацию теперь уже художественных произведений 1956 г., которые партийное руководство страны расценило как “ревизионистские”⁷. Противоречивый характер “оттепели” проявился в том, что одного провинившегося редактора заменили другим провинившимся, но наказанным за это раньше, еще до разоблачения “культа личности” Сталина на XX съезде КПСС.

В период второго редакторства А. Т. Твардовского “Новый мир” был, безусловно, лучшим журналом того времени. Один из его сотрудников впоследствии писал, что общественную программу журнала можно было выразить словом “демократизация”, а художественную – “правда”⁸. В нем печатались самые значительные литературные произведения. Сам Твардовский подчеркивал реальность его двуединого титульного обозначения “литературно-художественный и общественно-политический журнал” и напоминал, что исторически вторая часть может приобретать ведущее значение: “<...> далеко не всегда в книжках «Современника» и «Отечественных записок» в первую очередь разрезались страницы беллетристического отдела, – статьи критиков и публицистов нередко оспаривали внимание читателей даже у первоклассных романов и повестей”⁹. То же можно было сказать и о “новомирской” критике, особенно молодой, не отягощенной, по словам главного редактора, старыми навыками догматического мышления. “Некоторые статьи <...> вызывают многочисленные сочувственные отклики читателей, что вообще было редкостью длительный период в нашей литературе”¹⁰, – писал Твардовский.

Критику “Нового мира” отличали высокие эстетические критерии, подлинный профессионализм, искренность, неприятие догматизма, фальши и литературной халтуры, недоверие к официальным авторитетам и особенно последовательный антисталинизм. Критики-“новомирцы”, как и многие люди того времени, которым было обещано построение коммунизма к 1980 г., были воодушевлены даже явно фантастической надеждой на неизбежное и скорое торжество идеалов гармонического общества и гармонического человека. Так, И. Роднянская, весьма убедительно разграничив литературу в высоком смысле слова и обслуживающую лишь отдельные потребности людей беллетристику, уверенно заявляла: “У нас беллетристике предстоит все больше оттесняться на периферию искусства, потому что в недалеком коммунистическом обществе искусство (кстати, вопреки ошибочному мнению некоторой части современной научно-технической интеллигенции) будет не почетным средством развлечения и не видом пассивного отдыха, а необходимой и полноценной сферой напряженной – вдесятеро против теперешнего – духовной жизни гармонического и творческого человека”¹¹. В. Лакшин в 1966 г., говоря о показе крайне неблагоприятной жизни простых людей в повести В. Семина “Семеро в одном доме”, подчеркивал, что писатель желает преодоления трудностей и недостатков “в интересах коммунистического завтра”¹².

Естественно, что высокие достоинства “новомирской” критики ослаблялись изрядной исторической наивностью, присущей тому времени. “Новомирцы” стремились к радикальным изменениям и на волне эмоционального подъема верили или хотели верить в скорое преодоление всего, против чего они боролись, нередко отвергая прошлое вообще. Презируя бюрократизм и социальную демагогию, лучшие из них (именно лучшие, наиболее стойкие и преданные своей стране) видели в бедах прошлого и настоящего не закономерности общественной системы, а следствие недомыслия и дурной воли, индивидуальной и массовой, но прежде всего “начальства” и особенно Сталина. В многочисленных

спорах с оппонентами не было попыток понять их логику, хотя бы и извращенную, – выступления думавших иначе подавались как проявления глупости или недоброго упрямства.

Журнал воспринимался как фрондирующий не только во второй половине 60-х гг., когда он стал выразителем социалистической оппозиции новой государственной идеологической линии, проводившейся Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и секретарем ЦК по идеологии М. А. Сусловым¹³, но и в первой половине десятилетия, вызывая массу нападок и критических замечаний на разных уровнях¹⁴.

Критицизм и оппозиционность, а вместе с тем порой и аполитичность в случаях, не относившихся к проблеме культа личности, в “Новом мире” возросли в 60-е гг. даже по сравнению с концом 50-х. Стимулом к этому послужила новая волна разоблачения культа личности и главным образом самой личности И. В. Сталина, поднявшаяся на XXII съезде партии в октябре 1961 г. Еще в сентябре журнал напечатал статью Игоря Виноградова “О современном герое”, выдержанную в духе предшествующих лет. Автор ставил задачу создания положительного, но не идеального героя в прозе. В качестве признаков положительности предлагались самостоятельность поиска и интеллектуальность, их жизненное обеспечение состояло в том, что теперь все больше молодых и не только молодых людей, “убежденных в необходимости смотреть на мир открытыми глазами”¹⁵. Немногом ранее в “Новом мире” Б. Рунин говорил, что для лирика способ познания жизни – “воспроизвести <...> свои представления, свои чувства и волнения в форме собственного душевного поиска истины”¹⁶. И. Виноградов удовлетворен молодой лирикой, в которой на самом деле хватало и субъективизма, и “ячества”, он находит, что в лирике с героем “дело обстоит <...> много лучше” (С. 234), чем в прозе, но к последней у него требования другие: “<...> нужны верные ориентиры и беспощадная ненависть, готовность жизнь свою отдать за то, ради чего уже отдали свои жизни наши отцы в суровые годы революции” (С. 239). Здесь еще нет сближения героев революции и Великой Отечественной войны – общественная признательность к участникам последней войны усилилась позже, начиная с 1965 г. (20-летия Победы). Но бесспорно уважение к “отцам” как деятелям истории. Это уже не просто “открытые глаза”.

Однако после октября 1961 г. такой высокий стиль и его содержательные мотивировки стали менее характерными для “новомирской” критики. Слово “герой” стало казаться анахронизмом, выражение одного из критиков “тоска по герою” оценивалась как “знакомый, примелькавшийся тезис”¹⁷. Тенденция к изображению прежде всего “маленьких людей”, начавшаяся в литературе с середины 50-х гг., была настойчиво поддержана критикой “Нового мира” в 60-е как подлинно гуманистический подход. Вместе с тем верные сами по себе положения в тогдашнем общественном сознании нередко воспринимались как недоверие к социально активной личности, дискредитировавшее ее, даже когда условия для общественного самоутверждения человека были относительно благоприятными.

В статье “О современном герое” теоретическая установка другая, но практически И. Виноградов уже в ней предвосхищает последующее решение этой проблемы. Он высмеивает критику, обучающую писателей правилам отображения жизни, и поддерживает непосредственное читательское отношение к литературе как к самой действительности. “Литературные герои отвоевали наконец себе право на то, чтобы критики относились к ним по-человечески. Как к живым людям” (С. 242). Это – смешение наивно-реалистического взгляда на искусство и вполне научного понятия “жизненности”, убедительности литературных персонажей. Еще сравнительно недавно М. Щеглов (1925–1956 гг.) писал статьи с позиций единства этического и эстетического. В данном случае единство, неразрывность сменилась простым тождеством. “Новомирская” критика, да и не только она, не раз оценивала произведения с точки зрения того, хороши ли и действительно ли хороши люди, изображенные в них, порой независимо от удачи или неудачи художника в реализации замысла. В этом смысле она была “реальной критикой”¹⁸, но не в плане социально-историческом, как критика революционных демократов XIX в., а более в морально-общечеловеческом плане.

И. Виноградов разбирает дискуссию о главном герое повести В. Кожевникова “Знакомьтесь, Балуюев!”, проведенную в марте 1961 г. “Литературной газетой”, – мнения С. Антонова, Г. Макогоненко, Я. Эльберга¹⁹ – и поддерживает С. Антонова: у начальника дорожного строительства Балуюева забота о человеке идет не “от души”, а от того, что теперь один человек делает работу ста; думая о производительности труда, “Балуюев решил, что в интересах дела включить доброту, внимание и заботу в круг своих служебных обязанностей” (С. 242). Эльсберг же влюблен в Балуюева и не желает взглянуть на него “другими, трезвыми глазами”. И. Виноградов высмеивает этот подход: “Ах, вы говорите, – у него нос картошкой? Неправда! Глаза у него голубые!”. По мнению Я. Эльберга, Балуюев не может быть эгоцентристом, так как он увлечен делом, всю жизнь посвящает общему делу. “Получается, словом, «голубые глаза»” (С. 243), – заключает И. Виноградов. Он упрекает критикуемого не в том, что тот не видит художественной несостоятельности персонажа (В. Кожевников, бесспорно, хотел создать образ

положительного героя своего времени, но таланта не хватило, получился резонер), а в том, что Эльсберг отказывается считать эгоцентристом человека-труженика, одержимого делом. Исходный же методологический принцип у них общий: персонаж берется как реальный человек и только.

Требовательность “новомирской” критики иногда перерастала в повышенный критицизм. Тогда она крушила даже те произведения, которые по содержанию, по направленности объективно были ей близки. Так, И. Виноградов обвинял в недостаточной тонкости и такте и Сергея Серегина из арбузовской “Иркутской истории”: Виктор отказывается от Вали (это советский вариант “падшей женщины”), а Сергей тут же делает ей предложение выйти за него замуж и сразу после этого протягивает руку Виктору, предлагая остаться друзьями и очень настойчиво подчеркивая, что он, Сергей, перед ним чист. Вот какова, пишет автор статьи “О современном герое”, нравственная основа семейной идиллии, которую поясняет хор, выступающий “иной раз прямо-таки в роли комментатора у замочной скважины” (С. 249). Отрицая в Сергее, сияющем своими “вершинами”, реальную любовь к людям, И. Виноградов совершенно фантастически сближает его с Балугевым, хотя и оговаривает отсутствие внешнего сходства. Опять “виноват” персонаж, а не автор, прибегший к непонятным критику, но весьма свойственным драматургии (что хорошо видел М. Щеглов) приемам художественной условности, которые А. Арбузов возродил и изобретательно обновил: спрессованности действия во времени, заострению характеров, прямому выражению авторской позиции в переплетении с мнениями изображенного в пьесе окружения главных героев и т. д.

Единственный герой, кого И. Виноградов готов признать одним “из самых больших приближений к образу того нашего современника, которого мы можем назвать истинным героем наших дней”, – это Иван Федосеевич из “Деревенского дневника” Е. Дороша, произведения публицистического, хотя и художественно-публицистического²⁰ (здесь этический подход особенно наглядно превалирует над эстетическим). “Этот старый человек, «который вот уже более четверти века удачно руководит самым богатым здешним колхозом и почти всегда виноват перед начальством, потому что все делает по-своему», вызывает истинное уважение” (С. 254), поскольку всегда видит перед собой людей, для которых работает. Но как бы сурово ни относиться к предшествующим десятилетиям и даже именно если сурово к ним относиться, нельзя не признать, что если бы Иван Федосеевич действительно абсолютно всегда был виноват перед начальством, он бы четверть века в председателях не удержался. И. Виноградов не задумывается об этом, для него главное: истинный герой стоит в оппозиции к начальству.

Критик оговаривает, что лучшие черты народного характера могут отличать и ученого, “интеллигента”, и рабочего, колхозника. Но назван в статье только председатель. Еще не было в литературе того мощного наступления “деревенской прозы”, которое поставило в центре внимания отнюдь не интеллектуала, единственного, по И. Виноградову, истинного героя времени, а носителя вековой традиционной народной нравственности, противостоящего разъединению людей, замыканию их на самих себе.

Очень показательна для начала 60-х гг. статья В. Лакшина “Доверие (О повестях Павла Нилина)”. Доверие – ключевое понятие в литературе со второй половины 50-х гг. (“Живые и мертвые” К. Симонова, “Я отвечаю за все” Ю. Германа и др.). О нем размышлял и П. Нилин, вступивший в литературу еще в 30-е гг., но только теперь, как писал В. Лакшин, открытый читателями. Совсем в другое время бывший “новомирский” критик, друг Нилина В. Кардин, по сути, оспорил бесспорное для 50–60-х гг. мнение, что недоверие в тогдашних нилинских повестях – главная тема. Например, в нилинском “Испытательном сроке” он отметил прежде всего некую “данность” – изначально запрограммированное противопоставление характеров двух начинающих чекистов: “безбытового” Зайцева, “собаки-ищейки” без сочувствия к кому бы то ни было, и погруженного в быт Егорова, молодого следователя, сострадающего людям²¹. Достаточно критические, эти соображения вместе с тем как бы защищали повести Нилина от вполне возможных обвинений в аллюзиях, в применении проблематики рубежа 50–60-х гг. к материалу 20-х, т. е. в недостаточном историзме.

В 60-е гг. В. Лакшин не сомневался, что Нилин пишет главным образом о недоверии. Недоверие, утверждал он, убило Веньку Малышева в “Жестокости” (хотя уже заглавие повести несколько корректирует этот вывод). “Известна фраза, оброненная как-то Сталиным: «Здоровое недоверие – это хорошая основа для совместной работы». Здоровое недоверие! – восклицает критик. – Словосочетание столь же противоестественное, что и «здоровая ложь», «честная лесть», «искреннее лицемерие»”²². Негодование В. Лакшина понятно даже вопреки народной мудрости “доверяй, а проверяй” и явному перенесению Нилиным проблематики 60-х гг. на первое время после революции. Общечеловеческий подход “новомирцев” абсолютизировал все, что имело отношение к культу личности, выступавшему в качестве некой универсальной меры мирового зла: если недоверие, то обязательно политическое недоверие, которое не имеет никакой почвы и ничем хорошим кончиться не может. Здесь тоже сказалась

благородная наивность литературы начала 60-х, позднее отчасти развеянная как крушением иллюзий, так и глубокими произведениями литературы вроде “Момент истины” В. Богомолова.

Но художественный вкус не позволил В. Лакшину отнестись апологетически к любому образному воплощению проблемы недоверия. Он увидел ее явный “перебор” в новой (1962 г.) повести Нилина “Через кладбище”. Юный партизан Михась всех подозревает, пожилой возница-партизан губит себя в его глазах нелестным отзывом о Сталине, виновнике бед отступления; разговоров о Сталине вообще очень много, но это анахронизм, тогда во всем винили генералов, пишет В. Лакшин. Он отмечает рассудочность повести, передержку с “гуманизмом” молодых героев, сочувствующих жалким немцам, которых приходится убивать, так что война вразрез с намерением автора кажется стихийным бедствием, безотносительным к самим оккупантам. Однако критик, желая теоретически защитить принцип единства писательской мысли и ее воплощения, фактически в предложенной формулировке их разделяет: “Когда теряет свою убедительность мысль автора, страдает и чисто художественная сторона”²³. Разрыв этического и эстетического дает себя знать (“чисто художественная”). Если М. Щеглов мог начать похвалой, а кончить разгромом, то В. Лакшин, путем прекрасного профессионального анализа раскритиковавший повесть “Через кладбище” (вскоре забытую), как публицист дает Нилину очень высокую оценку, “даже когда не соглашаешься с ним”. “Повести Нилина учат думать, сознавать себя и свое время.

Найдется ли другое достоинство книги, которое поспорило бы с этим?..”²⁴. Заключение не лишенное известной исторической справедливости, но все-таки более чем лестное для писателя и в силу того не вполне объективное, противоречащее проделанному анализу. Налицо некоторая тенденциозность как следствие эмоционального антисталинизма.

Такого рода издержки были гораздо менее опасными для литературы, чем антидемократические тенденции, усилившиеся в культурной политике уже в 1963 г. и особенно после 1964 г. “Новый мир” испытывал все большее давление не только со стороны догматической критики, но и сверху. Написанная к 40-летию журнала статья Твардовского была задержана в верстке. После беседы с М. А. Сусловым и внесенных по его настоянию изменений она пошла в печать²⁵.

Вопреки вновь возобладавшей установке на “положительное” Твардовский приводил “факты, говорящие о том, как трудно и в литературной жизни изживается печальное наследие уже миновавших годов, когда развились и укоренились разнообразные вреднейшие навыки фальсификации, извращения правды жизни, порождающие у людей недоверие к нашему печатному слову. Это слишком серьезный политический урок, чтобы его затушевывать и тем самым оставлять возможность повторения такой практики”²⁶. Очевидна глубокая проницательность Твардовского. Он писал о необходимости гласности, прямой и открытой правды, в том числе правдивой истории, высказывался против фигуры умолчания и “округления” фактов, ссылаясь на письма читателей. Из близких журналу писателей выделены А. Солженицын, тогда выступивший с первыми своими публикациями, и С. Залыгин с повестью “На Иртыше”, изображающей трагизм процессов коллективизации (“Новый мир” выдвигал ее вместе с “Одним днем Ивана Денисовича” Солженицына на соискание Ленинской премии). “Иногда приходится слышать по разным поводам такие соображения, что, мол, да, вещь талантливая, правдивая, ничего не возразишь, однако она может быть использована в своих целях нашими врагами из буржуазного мира”. Твардовский возражал на это: “Все, что талантливо и правдиво в искусстве, – все нам на пользу. И, наоборот, всякая фальшь, всякая ложь, как и всякое наше недомыслие, – во вред нам и вернее всего может быть использовано нашими врагами против нас”²⁷. В заключение главный редактор “Нового мира” писал: “Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем самую суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику. Мы считаем это нормальной жизнью в литературе. И сами не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках. На том стоим”²⁸.

Впоследствии В. Лакшин вспоминал: “Вес 1965 и 1966 год критика «Нового мира» нарастала. На XXII съезде партии, куда Твардовский уже не был послан делегатом, журнал критиковали И. Бодюл, Н. Егорычев и другие ораторы. Еще резче говорили о «Новом мире» на идеологическом совещании, состоявшемся после съезда. В печати же особенно резкой критике подверглись военные повести В. Быкова, «Семеро в одном доме» В. Семина, «На Иртыше» С. Залыгина, «Из жизни Федора Кузьмина» Б. Можаяева, а также мои статьи и статья В. Кардина «Легенды и факты»”²⁹.

“Новомирские” критики апеллировали к общественному мнению. Прямо сделать это было нельзя. И В. Лакшин начал свою статью “Писатель, читатель, критик” историческим экскурсом в поставленную им проблему: после революции изучались читательские мнения, но к середине 30-х гг. эту работу свернули, критика “изрядно слиняла”, появился абстрактный образ “нашего советского читателя”. “Идеология культа личности исключала возможность различных мнений даже в чисто

эстетических вопросах”³⁰. Письма читателей, сообщал В. Лакшин, печатались только тогда, когда “рядовому читателю” надо было поправить критику, проморгнувшую какой-либо изъян. Тогда приговор книге был подписан – “нельзя же было спорить с «мнением народным», а двух мнений среди читателей, считалось, не может и быть. Как-то не принималась в расчет возможность того, чтобы два тракториста или два сталевара заспорили между собою о книге” (С. 225).

С литературным блеском, язвительно и в общем верно очертив становление казенного единомыслия, В. Лакшин все же не учел, что дискуссий, иногда по весьма существенным проблемам литературы, было много и в 30-е, и на рубеже 40–50-х гг. (правда, нередко с predetermined финалом). И даже насчет публикаций писем читателей В. Лакшин не совсем прав: именно созданное во второй половине 30-х гг. “Литературное обозрение” имело раздел “Письма читателей”, а в 1954 г., еще до разоблачения “культа личности”, в докладе о критике на Втором съезде писателей Б. Рюриков предлагал издавать книги таких писем.

В. Лакшин проиллюстрировал цифрами изменение ситуации с 20-х гг. В 1927 г. “Новый мир” имел 28 тысяч подписчиков, “Красная новь” – 12 тысяч, “Октябрь” – 2,5 тысячи, а теперь не меньше 100 тысяч. Публика есть, но нет даже приблизительной статистики читательских мнений по важнейшим вопросам литературы. “Институт читательских мнений” в “Литературной газете” (1964 г.), говорит В. Лакшин, не в счет: опубликованные письма производили впечатление “изрядно процеженных и дистиллированных”, читатель словно избегал разговора о наиболее заметных и спорных произведениях или высказывался с выглаженной правильностью. Безусловно, В. Лакшин взывал к читателям как единственным правомочным судьям в литературных спорах, будучи уверен, что “Новый мир” получил бы самую мощную поддержку.

Он приводит ряд по-настоящему заинтересованных, живых писем читателей разных профессий, в том числе слова о принятом решении читать только те произведения, которые подвергаются уничтожающей критике: это хорошая реклама. В. Лакшин задается вопросом: “<...> как могло сложиться такое униженное и неловкое для критики положение, чтобы ее рекомендации имели, так сказать, обратную силу?” (С. 230). Он цитирует статьи Г. Бровмана и П. Пустовойта о рассказе И. Грековой “Дамский мастер” из “Литературной России” за 1964 г. и со свойственной “новомирцам” ироничностью говорит о безликости противостоящей им критики, персонифицируя ее в одном лице: “Иногда под статьями стоят другие подписи, а мне все кажется, что я читаю Бровмана. Он пишет неутомимо и много, обладая при этом даром безошибочно распознавать все мало-мальски свежее и талантливое в литературе в целях предания его поруганию и позору” (С. 233). Далее Г. Бровман осуждается за ту же исходную методологию, которую использовал И. Виноградов в статье “О современном герое”: герой не нравится критику, и он говорит, что несостоятелен образ. “Хлестаков, – терпеливо растолковывает В. Лакшин, – малоприятный герой, но из этого не следует, что образ его художественно несостоятелен” (там же). И Г. Бровман, и П. Пустовойт осуждаются за их претензии к личности персонажа-парикмахера. Оба они, пишет В. Лакшин, требуют от литературы непременно “примера, достойного подражания”, хотя воспитательное воздействие оказывают и произведения, героям которых нельзя подражать: “Евгений Онегин”, “Анна Каренина”, “Жизнь Клима Самгина”, “Тихий Дон”. В. Лакшин выступает против плоской назидательности. Он процитировал письмо садовода И. Бычкова, который призвал писателей изображать жизнь правдиво, не очерняя и не приукрашивая, “но выводы и комментарии пусть делают сами читатели: жеваное чужим ртом есть противно”. “Сказано хоть и грубовато, но по существу” (С. 240), – замечает В. Лакшин. На самом деле литература конца 50-х – 60-х гг., на которую опирались “новомирцы”, сама бывала довольно дидактичной, особенно поэзия (Е. Евтушенко, Р. Рождественский и др.). Но искусство полемики В. Лакшин проявил высокое. Он убедительно противопоставил традиционную, часто действительно узколобую критику и живое отношение читателей, показал, что “Новый мир” ближе к тем, именем которых его нередко клеймили.

И “Новый мир”, и его противники выдвигали критерий демократизма. Но противники в духе критики рубежа 40–50-х гг. видели демократизм в отстаивании типичности как массовидности и всемерного превосходства общественного над личным, а “Новый мир” считал демократизмом внимание к каждой отдельной личности и уважение ее частной жизни, проявляющейся в обычных, рядовых событиях. Этот во многом верный и гуманистический в смысле социальной практики подход В. Лакшин проводил во второй статье с тем же названием “Писатель, читатель, критик” (1966 г.), разбирая два произведения: “Матренин двор” А. Солженицына и “Семеро в одном доме” В. Семина. Он отвергает противопоставление “большой” и “малой правды”, говорит, что под первой часто подразумевают изображение счастливой жизни, а под второй – изображение любых недостатков, трудностей и лишений. Одна из общественных функций искусства – то, что оно есть “своего рода средство всеобщей

связи между людьми”, “надежнейший источник социально-психологической информации”³¹, еще важнее его очищающее воздействие. “Узнавая Мулю, – писал В. Лакшин о героине В. Семина, – мы узнаем, познаем жизнь целого слоя людей. Но, кроме того, мы начинаем любить ее, такую, какая она есть – с ее великими достоинствами и маленькими слабостями; начинаем любить ее больше, чем себя, и незаметно учимся вниманию к таким людям, растим в себе гуманные чувства” (С. 244). В. Лакшин не противопоставляет героя в смысле “персонаж” и героя как свершителя подвига: героями делает людей не только мгновенный подвиг, но и подвижничество, “неустанное преодоление трудностей ради выполнения своего нравственного, социального, человеческого долга, которое есть удел многих вполне обыкновенных, но замечательных людей <...>” (С. 246).

Таким образом, В. Лакшин отнюдь не отвергает ни социальной роли искусства, ни обобщения (правда, на уровне читателя), ни героического, он только против суженного понимания последнего, хотя его собственная трактовка является расширительной (Солженицын писал все же не о героике, а о праведничестве)³². Он прямо следует Твардовскому, который отмечал, что “всемирная слава великой русской литературы зиждется прежде всего на ее пристальном внимании к людям обыкновенным, даже «маленьким», как было принято их называть. Разумеется, изображение героев исключительного облика не противопоказано, но во всяком случае это не может быть избирательным принципом для всей литературы”³³.

Тем не менее, это было уязвимо – хотя бы потому, что “маленький человек” в точном смысле слова (типа Акакия Акакиевича) был лишь одним из героев русской классики. Главное же, многие противники “Нового мира” видели в особенном внимании к “маленькому человеку” добровольное ограничение его социального бытия. Наиболее сильным противником “шестидесятников” в этом вопросе мог бы быть их предшественник М. Щеглов, который в 1956 г. в статье “На полдороге. (О рассказах Ильи Лаврова)” тоже спорил с теми, для кого “большой человек” был прежде всего счастливым человеком, а “маленький человек” – неудачником, тоже отстаивал право литературы на изображение разных неурядиц, но резко отвергал позицию И. Лаврова, который “очень часто почти демонстративно сам отдает себя в руки гонителей «маленького человека»”³⁴, так как “бессилен предложить своим положительным, но находящимся часто в жизненном пассиве героям что-нибудь взамен того, чем их обидела судьба”³⁵. Конечно, Щеглов высказывался по этому вопросу в начале общественного подъема, когда одного сочувствия к страдающим было явно мало, а В. Лакшин через десять лет уже сопротивлялся началу общественного спада. Теперь искреннее сочувствие само по себе значило много, а “социальная активность” снова все чаще шла не на пользу обществу. Но горячая, страстная, талантливая защита “обыкновенных” людей в литературе вместе с тем словно узаконивала социальную пассивность людей в жизни не как исторически обусловленную, а как вообще естественную. Твардовский был против избирательности, но журнал все-таки предпочитал говорить о человеке, держащемся подальше от “начальства”, не участвующем целенаправленно в акциях, имеющих в виду пути развития общества.

В. Лакшин, кроме того, прибег к небесспорным теоретическим выкладкам, предложив писателям сосредоточиться на частных случаях, избрать основой художественного образа “казус”. Слово это взято из письма Ленина к И. Арманд³⁶, но Ленин имел в виду прежде всего образ как феномен, а не только один из жизненных источников этого образа. По мнению В. Лакшина, ставить явления в логическую связь с другими, находить им место в цепи фактов, указывать на их соотношение с иными социальными процессами – дело критика, социолога (С. 240). Революционно-демократическая “реальная критика” это допускала, В. Лакшин это предпочитает. Он предостерегал писателей от “общих рассуждений”, но, полагая, что правда, заключенная в “случаях”, сама вступит в соприкосновение с правдой эпохи, не в полной мере убедительно считал это проявлением доверия к писателю (художественное обобщение – это не “общие рассуждения”). Ортодоксальный советский литературовед А. Метченко в книге “Кровное, завоеванное” (1971 г.) увидел в такой позиции В. Лакшина, наоборот, недоверие к писательской мысли³⁷.

Но Лакшин, безусловно, отстаивал подлинно принципиальную критику, даже пользуясь официальной фразеологией: “Читатели хотят видеть критику партийной по духу, бесстрашной и прямодушной в поддержке правды, в защите интересов народа. Они хотят, чтобы все талантливое и смелое в искусстве находило поддержку и квалифицированный суд, а все бездарное, лживое и конъюнктурное подлежало бы безжалостному осмеянию. Только в таком случае критика займет место не докучливой наставницы, которую уже никто не хочет слушать, а истинной выразительницы общественных и литературных интересов” (С. 256).

Однако опоры на авторитет читателя, с которым противники “Нового мира” в действительности не очень считались, было уже недостаточно. Поэтому журнал обращался к историческому опыту. В том же 1966 г. А. Г. Дементьев без внешнего повода вроде юбилея, к Четвертому съезду писателей, но за достаточно большой промежуток времени до него (состоявшегося в мае 1967 г.), опубликовал статью

о Первом съезде³⁸, где систематизировал главным образом лучшее из того, что на нем говорилось и делалось. Фактически А. Г. Дементьев намекал на близость принципов, некогда деклариовавшихся как объединявшие всех советских писателей (требование высокого качества литературной работы, взаимное внимание, гуманизм и т. д.), принципам “Нового мира” 60-х гг. На примере 30-х гг. современности как бы давался урок совместного и творческого подхода к литературному делу. С другой стороны, показательно то, что в статье старшего по возрасту критика 30-е гг. не представляли как сплошной мрак, сплошной культ личности, отдавалось должное и энтузиазму, даже прямоте людей того времени, хотя говорилось и о хвалах в адрес Сталина.

Игорь Виноградов также прибег к историческому опыту, напечатав в 1968 г. статью о повести Виктора Некрасова “В окопах Сталинграда”. В начале ее упомянуты те, кого, собственно, и надо было защищать от нападок: “Иные мотивы и темы, у Некрасова лишь намеченные, развиты в творчестве таких, например, писателей, как Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, значительно полнее и многостороннее”³⁹. Таким образом, судьба произведения, вышедшего в 1946 г., послужила аргументом в пользу новейшей военной прозы⁴⁰.

Критик отводит многократно предъявлявшиеся В. Некрасову упреки, будто в его повести нет представления о войне в целом, не показаны причины перелома в ходе войны, нет “генерального обобщения” и т. д. Еще несколько лет назад, сообщает И. Виноградов, один из критиков писал о желании при чтении повести “занять другой, более высокий НП, чтобы увидеть более широкую панораму событий, более обобщенную картину времени <...>”. В ответ “новомирский” критик замечает, что “здесь, как видит читатель, уже и сама возможность «генерального обобщения» предусмотрена лишь для писателя, занимающего «более высокий», чем блиндаж какого-то армейского офицера, НП, – по-видимому, генеральский, что ли, на крайний случай, если не выше...” (С. 234). Прозвучавший затем упрек И. Виноградову, сделанный Алексеем Метченко, в запальчивом противопоставлении НП (наблюдательного поста) рядового армейского офицера генеральскому⁴¹ был несправедлив, “новомирский” критик только реагировал на противопоставление обратного характера. Он действительно выступал против тех, кто считал недостаточной “окопную правду”, подчеркивал в произведении, о котором шла речь, определяющую роль народа, рядовых участников войны, как Керженцев и другие, со всеми их человеческими особенностями – об этом, собственно, и статья; но в ней есть и другой совершенно правильный вывод, что именно эта великая сила “стала той глубинной и безотказной опорой, на которой только и могло вырасти и показать себя стратегическое и тактическое мастерство ведения войны, смогли осуществиться повернувшие ход войны стратегические замыслы”, что только она сделала возможной поразительную перестройку тыла (С. 233).

У И. Виноградова было противопоставление другого рода: “И время лишь подтвердило, что окопный НП обыкновенного армейского офицера оказался более чем надежной точкой обзора для того, чтобы разглядеть то главное, самое важное, чем был Сталинград в духовной жизни нашего народа, а «генеральное обобщение», которое несла в себе повесть, – куда более глубоким и верным, чем в иных «обобщенных картинах времени» <...>” (С. 234). Это не теоретическая установка, а констатация реального историко-литературного факта. “Масштабные” произведения того же времени уже в 60-е гг. были давно забыты. Ничего равноценного “лейтенантской прозе” многотомные “панорамные” романы не дали и десятилетия спустя, достижения литературы о войне были связаны с психологически углубленными, реалистически конкретными произведениями В. Быкова, Г. Бакланова, В. Богомолова и др. “Новомирцы” и в этом отношении стойко боролись за правдивость и художественность. Но, как и в других случаях, меньшее внимание к “начальству” воспринималось оппонентами “Нового мира” чуть ли не как принципиальное отрицание роли руководства, в данной ситуации военного, а “новомирцы” практически не возражали против этого, поскольку высшая власть тогда принадлежала Сталину.

Не участвовавшие по возрасту в войне “новомирцы” приветствовали самокритичность военного поколения, когда видели ее в литературе. Как некогда М. Щеглов в рецензии “Правда жизни” (1954 г.), так и И. Виноградов отметил следующее произведение того же писателя: “Мы знаем, что когда кончится война, преемник Керженцева – Николай Митясов из повести В. Некрасова «В родном городе» – внесет некую поправку в <...> рассуждения Керженцева о войне как лакмусовой бумажке. В новой, мирной жизни он увидит, что бывает и так – «человек в Сталинграде воевал, в Севастополе, ничего не боялся, а тут вдруг прижимается к земле». И поймет, что лакмусовая бумажка войны тоже еще не всегда позволяет узнать человека до конца по-настоящему...” (С. 244).

И. Виноградов делал особый акцент на нравственной позиции писателя. Вместе с тем в статье чувствуется тревога за судьбы людей, уже вступивших в непримиримо острый конфликт с выразителями официальных взглядов. Критик пишет: “<...> безошибочность нравственного чувства, способность ясно и верно видеть нравственное достоинство тех или иных, непосредственно данных

человеческих отношений, действий, поступков, реакций – еще не гарантия того, что и в своем общественном мировоззрении, в понимании своего места и назначения в окружающем мире, человек непременно окажется на верных позициях. По-всякому бывает, да и какие гарантии могут существовать на этот счет? История, как известно, – не тротуар Невского проспекта, и правильно предвидеть действительные результаты и последствия избранных нами путей и методов борьбы – задача до крайности сложная” (С. 246). Развитие событий подтвердило глубокую основательность этого беспокойства и крайнюю сложность затронутого вопроса.

С современным подтекстом построена и статья В. Лакшина “Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»” (1968 г.). По Лакшину, “написанная в тридцатые годы книга Булгакова оказалась удивительно ко двору в литературе шестидесятых годов, когда обычному для наших писателей вниманию к социальным проблемам стал сопутствовать особенно острый интерес к вопросу морального выбора, личной нравственности”⁴². Однако, как считает строгая к Лакшину Нелли Биуль-Зедгинидзе, высокие моральные ценности “не только отождествляются критиком с коммунистическими, но и превращаются в банальность, сводятся к положению о том, что каждый, отдельный человек должен ориентироваться в своих поступках «лишь на собственное чувство справедливости» (а это уже не соответствовало официальной коммунистической идеологии и потому тогда для многих отнюдь не было банальностью. – С. К.); социальные и философские слои романа трактуются Лакшиным в общем ключе критики сталинизма. <...> Но **каков подход к произведению искусства, таков и результат его прочтения:** приближение к важным философским и социальным проблемам романа, с одной стороны, и неадекватная трактовка их действительного содержания – с другой. <...> Итак, с точки зрения марксизма, с точки зрения того самого критерия «народность», который был в свое время разработан в журнале «Литературный критик», Лакшин и объясняет читателю, что «общечеловеческое» искусство не всегда реакционно, а роман М. Булгакова имеет бесспорную ценность для нашей культуры”⁴³. Еще очень многим действительно нужно было это объяснять. Но “народности” у Булгакова, конечно, нет.

Поддерживая в текущей литературе талантливые произведения, пронизанные нравственным авторским отношением (примером может служить рецензия И. Виноградова “Чужая беда” на повесть В. Распутина “Деньги для Марии” – 1968 г., № 7), “новомирская” критика в то же время отличалась принципиальным неприятием того, что не соответствовало высоким критериям. Отрицательные рецензии во многих номерах преобладали. Росло число обиженных. Причем иногда обиженными примерно в одинаковой степени были и те, кто этого вполне заслуживал, и те, кто этого заслуживал меньше. В 1987 г. Ю. Буртин писал о личных причинах гонений на “Новый мир”: “Слишком многих писателей этот журнал задел, слишком важные персоны раздел, обнаружив «голых королей», как весьма точно сказал Трифонов (кстати, один из немногих в писательской среде, кто в феврале 1970 года прилагал реальные усилия к тому, чтобы предотвратить гибель журнала Твардовского)”⁴⁴.

А в 1965 г. Ю. Буртин напечатал рецензию на “повесть в новеллах” Михаила Алексеева “Хлеб – имя существительное”, признав ее несерьезной не только по тональности, присущей авторской манере, но и по существу. На фоне таких поддерживавшихся “Новым миром” произведений “деревенской” тематики, как романы Ф. Абрамова или повесть С. Залыгина “На Иртыше”, произведения М. Алексеева, конечно же, были как минимум облегченными. Ю. Буртин отмечает в его “Хлебе ...” “суммарность” многих характеристик и описаний, отчего “разные люди нередко поступают и мыслят совершенно одинаково”⁴⁵, и, с другой стороны, прием придания многим персонажам “чужинки”, зачастую на почве межполовых отношений (“подобные «чужинки», заставляющие усомниться в художественном вкусе писателя, не так уж много дают и по части самой занимательности” – С. 259). С позиций общечеловеческой нравственности критик высказывается о почтальоне Зуле, вскрывавшем все письма и дописывавшем некоторые из них, и о снисходительном отношении к этому его односельчан. Колхоз отсталый, но, отмечает рецензент, совершенно не чувствуется, как это сказывается на существовании людей, их мыслях и настроениях: сочиненной девушками частушки и прозвания “Председателевка” для улицы, на которой стоят добротные дома часто сменявшихся председателей, здесь явно недостаточно. “Как не задуматься о нетерпимости того положения, при котором колхозник остается подчас лишь работником там, где по закону и по справедливости он должен быть полноправным хозяином <...>” (С. 260), – пишет критик-публицист. У М. Алексеева бегут из села только “нечестные”, которые живут торговлей с огородами. Это экономический факт, его надо понять, чтобы изменить; о действительно серьезных проблемах современной деревни, жизни ее людей надо писать всерьез, говорит Ю. Буртин. Это напечатано в самом начале 1965 г., после серьезнейших перебоев 1963 г. с продажей хлеба.

Критической была и рецензия на “Повесть о моих друзьях-непоседах” М. Алексеева, написанная Н. Ильиной (Сказки Брянского леса // Новый мир. 1966. № 1)⁴⁶. Много претензий к выходившим тогда произведениям высказали Феликс Светов в статье “О ремесленной литературе” (1966 г., № 7) и рецензии

“Специфика иллюстративности” (на вторую книгу романа В. Закруткина “Сотворение мира” – 1968 г., № 2), авторы рецензий: Ст. Рассадин – “Своих стихов миндальный торт” (на книгу лирики Ю. Панкратова “Светлояр” – 1968 г., № 4), М. Злобина – “О пользе и неудобствах пешего хождения” (на роман С. Бабаевского “Белый свет” – 1968 г., № 9) и др.⁴⁷

В статье Наталии Ильиной “Литература и «массовый тираж»” опровергалось велеречивое утверждение члена редколлегии “Роман-газеты” В. Ильенкова (с которым в 1934 г., во время дискуссии о языке, бранился А. Толстой), будто это сверхмассовое издание (трехмиллионный тираж по сравнению с книжными тиражами в 30, 75, редко 100 тысяч экземпляров), сверхдоступное по цене, делает “достоянием масс <...> наиболее значительные произведения советских и передовых зарубежных художников слова”. В 1968 г. “Роман-газета” печатала романы “Солнцеворот” А. Филева (раздел своей статьи о нем Н. Ильина озаглавила “Филевская проза”), “Угол падения” В. Кочетова, “Берегите солнце” А. Андреева, “Разорванный круг” В. Попова и др. Три номера занял безграмотный роман А. Черкасова “Хмель”. Критика хвалила и “Хмель”, и повесть В. Матушкина “Любаша”, но если это все – лучшее, то, пишет Н. Ильина, “охватывает горькое ощущение бедности, сиротства, какой-то даже бесприютности <...>”⁴⁸. В то же время, говорилось в статье, “Роман-газета” не печатает действительно значительные новые произведения: “Бабий яр” Анатолия Кузнецова, “Две зимы и три лета” Ф. Абрамова, вторую книгу “Полесской хроники” И. Мележа, “Привычное дело” В. Белова, “Кражу” В. Астафьева, “Созвездие Козлотура” Ф. Искандера⁴⁹. Художественные предпочтения автора обзора, несомненно, основательны. Но всех перипетий жизни “Новый мир” предугадать не мог и не стремился. Шел 1969 г. Через несколько месяцев после публикации статьи Н. Ильиной упомянутый ею Анатолий Кузнецов оказался в эмиграции, а в “Новом мире” печаталось немало и других статей, в которых положительно оценивались произведения писателей, чья судьба потом сложилась аналогично; печатались и сами эти произведения. Все это приближало конец редакторства Твардовского.

Отношение “новомирцев” к критике и литературоведению также было вполне определенным. Они не раз тепло высказывались о М. Щеглове: А. Твардовский в статье “По случаю юбилея”, Ф. Светов в рецензии на повесть Ильи Лаврова “Очарованная” (Повесть об “очарованном деятеле” // Новый мир. 1966. № 2), Ю. Буртин в рецензии на второе издание сборника его статей (Марк Щеглов – критик // Новый мир. 1966. № 6), В. Лакшин в статье “Марк Щеглов (Напоминание об одной судьбе)” (1969 г., № 5). В 1969 г., когда Твардовский безуспешно пытался опубликовать свою поэму “По праву памяти”, его заместитель по журналу Лакшин вновь стремился оживить память о своем друге, чья деятельность пришлась на начало периода духовного оживления общества – периода, конец которого в конце 60-х уже вполне обозначился.

“Новый мир” поддерживал поиски новых путей в литературоведении. Так, в № 10 за 1965 г. опубликована рецензия М. Чудаковой “По строгим законам науки” на несколько томов тартуских “Трудов по русской и славянской филологии”, в которых разрабатывались принципы структуральной поэтики и применения семиотики в литературоведении, подвергавшиеся тогда особенно суровой некомпетентной критике.

С другой стороны, в “Новом мире” разоблачались и высмеивались работы критиков и литературоведов, верных догматическому мышлению, например книга Вл. Пименова “Занавес не опущен. Литературные портреты”, о которой писал В. Кардин в рецензии “Коварство жанра” (1968 г., № 9).

В. Кантор начал свою рецензию на книгу Л. Ершова “Советская сатирическая проза” (М.; Л., 1967) с напоминания о печальном факте: “Сколько их было, теоретических разговоров о сатире! Чем меньше было самой сатиры, тем больше появлялось рассуждений о ней”⁵⁰. Л. Ершов декларирует свою объективность и непредвзятость, в том числе по отношению к Булгакову и Зощенко, но, например, о Булгакове говорит, что в его “прозе преобладали раздраженность и желчность”, что его “попытки продолжить традиции гоголевского жанра поэмы также были неудачными и отличались либо грубой тенденциозностью, либо крайней поверхностностью”, виной тому было “негибкое или консервативное мышление”. Разного рода упреки адресуются Зощенко и Эренбургу (с. 246). Полноценными сатириками признаются только Ильф и Петров. А В. Катаев, А. Толстой, Ю. Олеша, И. Эренбург, Мих. Зощенко, Н. Эрдман, Мих. Булгаков, Е. Зозуля рассматриваются лишь в той мере, в какой они оказались “почвой для возникновения сатирических романов Ильфа и Петрова”. В. Кантор ставит вопрос: стоит ли читать этих сатириков, если все их достоинства органически вошли в творчество Ильфа и Петрова? “И уж тем более, наверно, не следует читать А. Платонова. Ведь имя автора «Города Градова» даже в связи с романами и повестями о бюрократизме в книге не упомянуто” (с. 247). В 30-е гг. отрадное явление одно – “Повесть о Ходже Насреддине” Л. Соловьева, и поскольку здесь есть народный герой (шаг вперед, по Л. Ершову), то теперь уже Ильф и Петров оказываются “почвой” (с. 248). Л. Ершов не отвечает на вопросы, почему в сатире 40-х гг. острейшие проблемы сводились до мелочей быта, неурядиц в торговле и на транспорте, почему в современной сатирической прозе преобладает шаблонно-канцелярский стиль

и т. д. Рецензент требует от автора книги не констатаций, а социально-исторического анализа. “Сатира существует в обществе. И вне связи с обществом ее рассматривать нельзя. Простое же перечисление слов: «нэп», «разруха», «строительство», «мещанство», «бюрократизм», «борьба старого с новым», «культ личности» – мало еще что говорит” (С. 249).

Очень характерна для “новомирской” критики рецензия Ст. Рассадина на книгу П. Выходцева “Поэты и время” (Л., 1967). Она начинается с изящной обманной фразы (подобной фразе В. Лакшина насчет “дара” Г. Бровмана безошибочно открывать все ценное в литературе “с целью предания его поруганию и позору”):

“В этой книге, – пишет С. Рассадин, – много такого, с чем безусловно и охотно соглашаешься.

«Излюбленные образы Есенина невозможно себе представить, например, в стихах Д. Бедного...»

В самом деле невозможно”⁵¹. Далее приводятся другие штампы и банальности из рецензируемой книги, но в их числе слова: “Рассуждения о новаторстве будут беспредметны, если мы обойдем вопрос о том, чем оно обусловлено и чему служит”. Рецензента отталкивает словесный штамп сам по себе. Однако при этом создается впечатление, что вопросы “чем обусловлено” и “чему служит” для него и остаются только словесными штампами, что, с его точки зрения, задавать их искусству чуть ли не абсурдно. И дальше совершенно справедливые претензии к автору книги сопровождаются уничижительными дополнениями. “Мельком упомянув об «известных трудностях и недостатках» поэзии тридцатых годов (и впрямь, что о них распространяться, если они «известные?»), он заключает: «Завоевания поэзии этих лет оказались исключительно плодотворными для ее активного развития в тех небывало трудных условиях, какие выпали на долю страны в годы Великой Отечественной войны»” (С. 245). Суждение, конечно, не оригинальное и не слишком взвешенное. Но С. Рассадин возмущен вообще тем, что о поэзии 30-х гг. можно сказать нечто хорошее. При этом сам он вспоминает только бравые предвоенные стихи и песни. Но в годы войны у поэзии действительно были заслуги, и кое-что в 30-х гг. их действительно подготавливало. Рассадин же вопрос об этом отменяет с порога, поскольку П. Выходцев умалчивает о том, о чем умалчивать нельзя.

Рецензент указывает на многочисленные оговорки автора: нет места, нет возможности показать и т. д. – и подчеркивает, что места П. Выходцеву всегда не хватает для доказательств. Главной созидательной силой у истоков советской поэзии ему видятся пролетарские и крестьянские поэты. Рядом с ними неполноценными выглядят интеллигенты Блок и Маяковский, которые только ищут приобщения “к нравственно-эстетическим идеалам широчайших слоев”, уже постигнутым начинающими пролетарскими поэтами, несущими их в поэзию. Тем более отрицателен облик “модернистов” Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, не говоря уже о Мандельштаме, чьи стихи имеют “анти-общественный характер” и “не несут никаких положительных идеалов”. “Таким образом, – пишет С. Рассадин, – возникает картина: Ал. Ширяевец, победно противостоящий Ахматовой, Г. Деев-Хомяковский, безусловно превосходящий Цветаеву” (С. 246). Всячески декларируется в книге узость поэтического мира А. Ахматовой. “Заговорив же о Фирсове, П. Выходцев восторженно находит в нем все то, чего так недоставало Ахматовой: «чувство родной земли раскрывается как всесильное чувство нашего современника, озабоченного сегодняшним и завтрашним днем своей родины»; «душевный мир человека высоких гражданских и патриотических чувств»; «лирически проникновенные стихи», «активная мысль поэта-публициста»; «замечательные стихотворения»...

В доказательство приводятся строки, судя по которым их автор еще не вполне закончил курс изучения русского языка:

Россия!
Не искать другого слова,
Иной судьбы на целом свете нет.
Ты вся – сплошное поле Куликово
На протяжении многих сотен лет ...”

(С. 246).

Ст. Рассадин пишет, что П. Выходцева не интересует одна категория – талант. Хорошие поэты у него – одинаковые, но таковы же и те, кого он считает плохими. Примеры этого подхода: “При всем различии, стихотворения М. Светлова и И. Молчанова очень близки...”, “При всем различии поэтических индивидуальностей, этих поэтов объединяло повышенное чувство долга...”, “При всех различиях старых литературных школ и направлений, их объединяли отчужденность от революционной действительности...”, “При всем многообразии индивидуальных свойств таких поэтов, как Б. Пастернак, М. Цветаева, И. Сельвинский, С. Кирсанов, ранний Н. Асеев, ранний Н. Заболоцкий, П. Антокольский, А. Вознесенский, их объединяет ... повышенное внимание к передаче субъективных впечатлений, нередко произвольных”. П. Выходцев перечисляет подряд 57 имен молодых поэтов, а по 10–20 имен

группирует постоянно. “Как художник мыслит образами, так он мыслит списками”. Лишь констатируется, что у каждого из девяти перечисленных поэтов “есть свои сильные и слабые качества”, что у Солоухина и Бокова “есть свои достижения и недостатки”. Поэты, у которых “несомненна принципиальная близость”, – это Д. Бедный и Есенин, Багрицкий и Исаковский, Рыленков и Наровчатов, не считая прочих. “Каждому из них, – оговаривает П. Выходцев, – присущи свое видение мира, своя поэтическая образность. У каждого свои недостатки и даже промахи”. У Тихонова, Орешина, Асеева, Багрицкого “также были свои трудности и достижения”. “Вы спросите какие именно? – пишет С. Рассадин. – Но вам ведь ясно сказано: свои!..” (С. 247). И заключает рецензию выводом, что “свои недостатки и даже промахи” имеет и книга П. Выходцева, и не она одна.

Рецензия острая, автор книги язвительно высмеян. Живой, разнообразный литературно-разговорный стиль рецензента сам по себе наглядно противостоит казенщине П. Выходцева. Но С. Рассадин уверен, что убедит читателей только с помощью насмешек, ведь речь идет, с его точки зрения, об очевидной для всех нелепости⁵². И он поневоле сам оказывается незащищенным. Противникам “новомирцев” было легко сделать вывод об отрицании или принижении Ст. Рассадиным активно преобразующей социальной функции искусства, тем более что, спровоцированный П. Выходцевым, критик больше говорит об Ахматовой или Цветаевой, чем о Блоке, Маяковском и Есенине, и, в сущности, забывает о прославившемся в презируемые им 30-е гг. главном редакторе журнала, в котором ныне он, С. Рассадин, печатается. Вольно или невольно умолчав о близких тогдашнему большинству народа поэтах, о массовой советской песне, критик поступил в известной мере так же, как П. Выходцев, подошедший к поэзии весьма избирательно. Возможно, в каких-то вопросах у С. Рассадина не было с ним расхождений, но признаться в этом, вероятно, было трудно даже самому себе. 30-е гг. перечеркнуты целиком. Можно было найти стихи и похуже цитированного четверостишия В. Фирсова; главное же – апологию этого поэта С. Рассадин толкует тоже только как глупость и нелепость, а между тем это делалось на вполне определенной мировоззренческой основе – основе внеисторической, абстрактной народности (Россия – “сплошное поле Куликово”, объединяющее русского князя, бояр и смердов против чужеземцев, “на протяжении многих сотен лет”). Становление этой концепции происходило в 60-е гг. “Новомирская критика” в конце десятилетия обратила на нее внимание⁵³, но, стремясь по-прежнему разоблачать прежде всего культ личности, не приобрела достаточного опыта полемики с ней на социально-исторической, а не общечеловеческой, этической и эстетической, основе⁵⁴. Наконец, главный критерий – талант – не конкретизировался, тоже брался как нечто само собой разумеющееся. Можно было подумать, что имеется в виду лишь техническое мастерство, хотя талант Пастернака или Ахматовой к нему, разумеется, не сводился. С тем же критерием – талант вообще, просто талант – подходили к поэзии в 60-е гг. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов, выступавшие в “Юности”.

В то время официальная идеология все чаще ограничивалась штампом, повторением избитых истин, среди которых были реально вовсе не истины. Продолжал их опровергать практически только “Новый мир”. Тогда к непрерывной критической кампании и длительным задержкам выхода номеров журнала добавились организационные меры. Еще в конце 1966 г. из редколлегии были выведены заместитель главного редактора А. Г. Дементьев и ответственный секретарь Б. Г. Закс, личные друзья А. Т. Твардовского; функции Дементьева стал исполнять В. Я. Лакшин, так и не утвержденный в должности официально. С ноября 1969 г. обсуждался вопрос о выводе из редколлегии “Нового мира” А. И. Кондратовича, В. Я. Лакшина, И. И. Виноградова и И. А. Саца. В феврале 1970 г. состоялось решение по этому вопросу. Вопреки воле Твардовского “в редколлегию ввели в качестве первого заместителя главного редактора Д. Г. Большова, проштрафившегося прежде на телевидении, О. П. Смирнова, В. А. Косолапова, А. Е. Рекемчука, А. И. Овчаренко”⁵⁵, который незадолго до этого, по выражению В. Я. Лакшина, “публично клеймил «По праву памяти» как «кулацкую поэму»”⁵⁶. Смена редколлегии, санкционированная секретарем ЦК КПСС по идеологии М. А. Сусловым, сделала невозможным пребывание Твардовского на посту главного редактора. Его письма к Л. И. Брежневу и Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному остались без ответа⁵⁷. “Оттепельный” “Новый мир” перестал существовать. В 1971 г. А. Т. Твардовский в возрасте 61 года скончался. Его некролог подписали Л. И. Брежнев и другие высшие руководители партии и государства.

¹ Биуль-Зедгинидзе Н. Литературная критика журнала “Новый мир” А. Т. Твардовского (1958–1970 гг.). – М., 1996.

² Рассадин Ст. “Что было, чего не было...” // Литературная газета. – 2 мая 1990 г. – С. 4. ³ Биуль-Зедгинидзе Н. Указ. соч. – С. 62. При всем своем критицизме исследовательница отмечает, говоря о статье Лакшина: “В откликах на нее того времени как Твардовский, так и Солженицын выразили свою благодарность и высоко оценили ее” (там же. С. 405). ⁴ См. об этом, например: Турков А. “Раззудись, плечо, размахнись, рука!” // Вопросы литературы. – 2007. – № 1. – С. 53–55; Твардовские В. и О. М. Золотоносов против “Нового мира” // Там же. – С. 56–65. ⁵ Лакшин В. Пути журнальные. Из литературной полемики 60-х

годов. – М., 1990. ⁶ См.: Голубков М. М. История русской литературной критики XX века (1920–1990-е годы). – М., 2008. – С. 210–214, С. 216–223. ⁷ См.: Чурипин С. Оттепель: хроника важнейших событий // Оттепель. 1957–1959. Страницы русской советской литературы. – М., 1990. – С. 367–381, С. 385–388, С. 392, С. 400 (в апреле 1958 г. «секретарь ЦК КПСС Е. А. Фурцева предложила А. Твардовскому вновь возглавить журнал «Новый мир»»), С. 402, С. 403 (28 июня: «В «ЛГ» сообщение о том, что секретариат правления СП СССР удовлетворил просьбу К. Симонова об освобождении его от обязанностей главного редактора журнала «Новый мир»»). ⁸ Буртин Ю. «И нам уроки мужества даны...» // Октябрь. – 1987. – № 12. – С. 200. ⁹ Твардовский А. По случаю юбилея // Новый мир. – 1965. – № 1. – С. 4, 5. ¹⁰ Там же. – С. 17. ¹¹ Роднянская И. О беллетристике и «строгом» искусстве // Новый мир. – 1962. – № 4. – С. 242. ¹² Лакишин В. Писатель, читатель, критик. Статья вторая // Новый мир. – 1966. – № 8. – С. 238. См.: Биуль-Зедгинидзе Н. Указ. соч. С. 75–80 (подраздел «Неформальная опора на марксизм-ленинизм» раздела «Обзор проблематики позднейших статей В. Лакишина»). В разборе рассказа А. Солженицына «Матрёнин двор» «умозрительны и чрезмерно натянуты его попытки с марксистских позиций доказать <...> антирелигиозный характер авторской мысли и представить Матрёну чуть ли не советской коллективисткой» (там же. – С. 71). ¹³ См.: Буртин Ю. «Вам, из другого поколения...» К публикации поэмы А. Твардовского «По приказу памяти» // Октябрь. – 1987. – № 8. – С. 198–200. ¹⁴ См.: Лакишин В. Не впасть в беспамятство (Из хроники «Нового мира» времен Твардовского) // Знамя. – 1988. – № 8. – С. 211–212. Н. И. Дикушина даже считает: «Борьба с Твардовским и «Новым миром», в сущности, и определяла главное направление «политики партии в области литературы» во второй половине 60-х годов» (Дикушина Н. «...Не отступая – быть самим собой» (По страницам книги Р. Романовой «Александр Твардовский. Труды и дни») // Вопросы литературы. – 2007. – № 1. – С. 17). В одной из служебных записок КГБ СССР говорилось: «Трудно найти оправдание тому, что мы терпим по сути дела политически вредную линию журнала «Новый мир»...» (Млечин Л. Андропов. – М., 2008. – С. 126). ¹⁵ Виноградов И. О современном герое // Новый мир. – 1961. – № 9. – С. 238. Далее страницы этой статьи указываются в тексте. ¹⁶ Рукин Б. Спор необходимо продолжить // Новый мир. – 1960. – № 11. – С. 209. ¹⁷ Лакишин В. Писатель, читатель, критик. Статья вторая. – С. 245. ¹⁸ См.: Буртин Ю. «Реальная критика» вчера и сегодня // Новый мир. – 1987. – № 6. – С. 228. ¹⁹ По характеристике С. Василенко и Ю. Фрейдина, «литературовед, исключенный в конце 50-х гг. из Союза писателей за доноительство» (Мандельштам Н. Воспоминания. Комментарий // Юность. – 1988. – № 8. – С. 61). ²⁰ В 1965 г. И. Виноградов напечатал в «Новом мире» (№ 7) статью «По страницам, «Деревенского дневника» Ефима Дороша», где, несколько преувеличивая значение этого важного для тех лет произведения, рассматривал его как «подлинное свидетельство нашего времени». ²¹ См.: Кардин В. «Сугубо за свой счет» // Москва литературная. Критики столицы о новой и старой московской литературе. – М., 1985. – С. 84–85. ²² Лакишин В. Доверие (О повестях Павла Нилина) // Новый мир. – 1962. – № 11. – С. 236. ²³ Там же. – С. 241. ²⁴ Там же. ²⁵ См.: Лакишин В. Не впасть в беспамятство. – С. 212. ²⁶ Твардовский А. По случаю юбилея // Новый мир. – 1965. – № 1. – С. 7. ²⁷ Там же. – С. 13. ²⁸ Там же. – С. 18. ²⁹ Лакишин В. Не впасть в беспамятство. – С. 212. ³⁰ Лакишин В. Писатель, читатель, критик. Статья первая // Новый мир. – 1965. – № 4. – С. 225. Далее страницы этой статьи указываются в тексте. ³¹ Лакишин В. Писатель, читатель, критик. Статья вторая. – С. 241. Далее страницы указываются в тексте. ³² Аналогично «в своей статье «Люди для людей» <1959. № 3> Инна Соловьева говорит о четырех книгах из научно-популярной серии Географиздата <...>. Общей темой этих книг является подвиг, но подвиг для Соловьевой, как и для Виноградова, – категория этическая. <...>. Ст. Рассадин в статье о К. Чуковском «Искусство быть самим собой» <1967. № 7> также постоянно акцентирует такие понятия, как «простая порядочность», замечая, что в «трудные эпохи» она может «показаться героизмом, граничащим с безумием». Героизм, в определении Рассадина, – «это и есть возможность оставаться во всех случаях самим собой; это как и стиль, неумение вести себя иначе» (с. 220)» (Биуль-Зедгинидзе Н. Указ. соч. – С. 300, С. 301). ³³ Твардовский А. По случаю юбилея. – С. 14. ³⁴ Щеглов М. Любите людей. Статьи. Дневники. Письма. – М., 1987. – С. 402. ³⁵ Там же. – С. 404. ³⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 49. – С. 56–57. ³⁷ См.: Метченко А. Избранные работы: В 2 т. – Т. 1. – М., 1982. – С. 421. ³⁸ Дементьев А. На Первом съезде писателей. По страницам стенографического отчета // Новый мир. – 1966. – № 10. – С. 244–258. ³⁹ Виноградов И. На краю земли // Новый мир. – 1968. – № 3. – С. 227. Далее страницы указываются в тексте. ⁴⁰ Но это была и защита самого В. Некрасова: «<...> как рассказывал В. Некрасов в беседе <...>, шел второй «заход» по исключению его из партии, и Виноградов смог «всунуть» статью в некую паузу, когда еще на Некрасова не накладывалось вето. «Статья была очень нужна, чтобы меня поддержать...»» (Биуль-Зедгинидзе Н. Указ. соч. – С. 217). ⁴¹ См. Метченко А. Избранные работы: В 2 т. – Т. 1. – С. 374. ⁴² Лакишин В. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Новый мир. – 1968. – № 6. – С. 310. ⁴³ Биуль-Зедгинидзе Н. Указ. соч. – С. 81–82. ⁴⁴ Буртин Ю. «И нам уроки мужества даны...». – С. 205. По той же причине, считает Д. М. Урнов, в 1940 г. закрыли журнал «Литературный критик» (Урнов Д. Перемены и мнения. О литературе в период перестройки // Вопросы литературы. – 1988. – № 8. – С. 39). ⁴⁵ Буртин Ю. О пользе серьезности // Новый мир. – 1965. – № 1. – С. 258. Далее страницы указываются в тексте. ⁴⁶ «Все 70-е и начало 80-х гг. М. Алексеев, освободившись от докучливых новомирских критиков, свободно публиковал свои сочинения миллионными тиражами и даже умудрился соорудить себе при жизни памятник – открыть в родных местах дом-музей М. Алексеева. Но в 1979 г., то есть через десять лет после разгрома редколлегии «Нового мира», он решил вдруг представиться читателям «Литературной газеты» соратником А. Твардовского: последний, мол, ценил его произведения, не ведал, что творят критики его журнала. Эта опубликованная А. Чаковским ложь так и не была опровергнута «Литературной газетой», несмотря на полугодовую борьбу Ю. Буртина с «ЛГ» и Союзом писателей» (Биуль-Зедгинидзе Н. Указ. соч. – С. 150). ⁴⁷ «Среди наиболее интересных и талантливых новомирских работ, написанных в жанре литературного фельетона, можно назвать <...> публикации, в которых (как и в рецензии Ю. Буртина на повесть М. Алексеева «Хлеб – имя существительное») разоблачаются и высмеиваются художественные произведения псевдонароднической направленности. Это рецензии: Н. Ильиной – «Сказки Брянского леса» на повесть М. Алексеева «Мои друзья-непоседы» (1966, 1), А. Кондратовича – на роман И. Мельниченко «Пока ты молод» (1961, 9) <...>, А. Берзер – на роман В. Очеретина «Сирена» (1963, 1) и на повесть В. Чивилихина «Елки-молалки» (1965, 1) и статья И. Дедкова «Страницы деревенской жизни» (1969, 3).

Приведем хотя бы один пример такого типа выступлений – работу Н. Ильиной, построенную на материале «Повести о моих друзьях-непоседах» М. Алексеева, где она едко высмеяла «пьянство, веселое времяпрепровождение» известных литераторов-патриотов – героев повести (Н. Грибачева, поэта С. Смирнова, брянского поэта Ильи Швеца и самого автора повести – М. Алексеева), попавших в «нелегкие условия оторванности от цивилизации» (с. 251), а попросту говоря – в глухую деревню для того, чтобы живописать нелегкий труд крестьянина» (там же. – С. 297). ⁴⁸ Ильина Н. Литература и «массовый тираж» (О некоторых выпусках «Роман-газеты») // Новый мир. – 1969. – № 1. – С. 227. ⁴⁹ Там же. – С. 229. ⁵⁰ Кантор В. Кого читать? // Новый мир. – 1967. – № 12. – С. 246. Далее страницы указываются в тексте. ⁵¹ Рассадин С. «Независимо от степеней таланта» // Новый мир. – 1969. – № 5. – С. 244. Далее страницы указываются в тексте. ⁵² Спустя 18 лет Вадим Соколов подверг убийственной критике 4-е издание вузовского учебника «История русской советской литературы» под редакцией

П. С. Выходцева. Его статья “Странная история” (“Юность”. – 1987. – № 6) во многом буквально совпала с забытой рецензией Ст. Рассадина.⁵³ Собственно, уже в 1961 г. А. Меньшутин и А. Синявский в статье “За поэтическую активность” (№ 1) “выделяют среди различных направлений молодой поэзии и так называемую «почвенническую» тенденцию. <...> Обращаясь к поэзии двух авторов этого направления – А. Поперечного и В. Цыбина (в связи с попыткой П. Выходцева – в его статье «Поэтическое поколение эпохи спутников» – представить этих авторов как наиболее интересных поэтов «периферии»), Меньшутин и Синявский с довольно едкой иронией анализируют то «своеобразие», которое приобретают в их стихах постоянно употребляемые ими слова «народ», «Родина» и т. п. И тот, и другой, констатируют критики, «склонны акцентировать порою лишь корень “род”, то есть сравнительно узкие – родовые, кровные – связи», благодаря чему все «следование традициям» «сводится в их стихах зачастую к тому, что “та же удаль, та же хватка и тот же хмель степных кровей из рода в род переходили...”» (А. Поперечный) (Биуль-Зедгинидзе Н. Указ. соч. – С. 253–254). “Вступая в полемику с Выходцевым, критики обращают внимание на то, что политически сориентированные советы и рекомендации Выходцева молодым поэтам являются совершенно «сознательной ставкой на “середняка”» (с. 233). Но поощрение «среднего» вкуса как раз и приводит к той **невзыскательности**, примеры которой неустанно выставляют на всеобщее обозрение Меньшутин и Синявский <...>” (там же. – С. 264).⁵⁴ “«Новый мир» не увидел в этих поисках ничего, кроме смеси блажи с шарлатанством” (Чупринин С. Позиция. Литературная критика в журнале “Новый мир” времен А. Т. Твардовского: 1958–1970 гг. // Вопросы литературы. – 1988. – № 4. – С. 41). Обстоятельная же полемика с ними старшего “новомирца” А. Г. Дементьева в статье “О традициях и народности” (1969 г., № 4) послужила поводом для одной из последних, решающих атак на “Новый мир” (см.: Твардовская В. А. Г. Дементьев против “Молодой гвардии” (Эпизод из идейной борьбы 60-х годов) // Вопросы литературы. – 2005. – № 1. – С. 178–212). В. В. Кожин утврждал, что напечатанное в “Огоньке” (1969 г., № 30) письмо “Против чего выступает “Новый мир?”», подписанное одиннадцатью литераторами начиная с М. Алексеева, было направлено лишь против “сталиниста” Александра Дементьева, а позиции самого Твардовского якобы были близки позициям тогдашней “Молодой гвардии” (см.: Кожин В. “Самая большая опасность...” // Наш современник. – 1989. – № 1. – С. 141–175). А редактор “Нового мира” 27 июля 1969 г., прочитав этот “антиновомирский, открыто фашиствующий манифест”, записал, что “такого еще не бывало – по глупости, наглости, лжи и т. п.” (Твардовский А. Рабочие тетради. 1969 г. // Знамя. – 2004. – № 9. – С. 148). Между тем современный историк критики однозначно оценивает статью друга Твардовского, послужившую поводом для “письма одиннадцати”: “Разгромная статья Дементьева, «охранительная» по своей форме и содержанию, была написана казенным литературно-партийным языком, содержала дежурные ссылки на Маяковского, Горького, классиков марксизма-ленинизма и могла быть, в принципе, опубликована не только в «Новом мире», но и любом советском издании, будь то «Правда», «Огонек» или «Октябрь»” (Голубков М. М. История русской литературной критики XX века (1920–1990-е годы). – С. 270–271). Отчего же тогда столь резкая реакция “Огонька”?⁵⁵ Лакин В. Не впасть в беспамятство. – С. 217.⁵⁶ Там же.⁵⁷ 7 сентября 1970 г. председатель КГБ Ю. В. Андропов направил в ЦК КПСС письмо: “В Комитет госбезопасности поступили материалы о настроениях поэта А. Твардовского.

В частной беседе он заявил:

«Стыдно должно быть тем, кто сегодня пытается обелить Сталина, ибо в душе они не знают, что творят. Да, ведают, что творят, но оправдывают себя высокими политическими соображениями: этого требует политическая обстановка, государственные соображения!.. А от усердия они и сами начинают верить в свои писания. Вот увидите, в конце года в “Литературной газете” появится обзор о “Новом мире”: какой содержательный и интересный теперь журнал! И думаете, не найдутся читатели, которые поверят? Найдутся. И подписка вырастет. Рядовой, как любят говорить <...> читатель, он верит печатному слову. Прочтет десять статей насчет того, что у нас нет цензуры, а на одиннадцатой поверит...».

Сообщается в порядке информации” (Млечин Л. Андропов. – С. 123–124).

Рґснстпка

Вып. 11

Києв – 2011

М. М. Гиришман (Донецк)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ И РИТМ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Развитие понятия “художественная целостность” тесно связано с различного рода попытками преодолеть ограничительные трактовки соотношения произведений искусства только и исключительно с какой-то определенной: социальной, психологической, исторической или какой-либо иной действительностью. Этому противостоит содержательная связь художественного произведения с не укладывающейся ни в какой реально-исторический масштаб полнотой бытия, т. е., как писал М. М. Бахтин, “полнотой космического и человеческого универсума”, так что в основе произведения лежит “модель последнего целого, модель мира ... Эта модель мира перестраивается на протяжении столетий (а радикально – тысячелетий)”¹.

Одна из самых глубоких характеристик содержательной основы, адекватной искусству и науке, принадлежит М. К. Мамардашвили: “... Гармония и порядок в мире, в котором человек живет, но большем, чем он сам <...> сцепление и образ явлений целого, стоящие вне человеческих надежд, упований, желаний, использований, интересов, ценностей <...> Только это целое является чем-то единым и осмысленным в отличие от явлений, обладающих конечной размерностью <...> Человек в этом смысле существо уникальное <...> ориентированное на высший (в том числе и внутри себя самого) порядок и стремящееся знать о нем,

т. е. знать о том, что не имеет никакого отношения к последствиям для человеческого существования и интересов, несоизмеримо с ними и ничем из них не может быть ограничено”².

Единственное, что вызывает здесь, по-моему, неполное согласие, – это “не имеет никакого отношения” и “несоизмеримо”. Ничем из человеческих мерок не может быть ограничено – да, но почему никакого отношения и совсем несоизмеримо с конкретностью человеческого существования? Тем более, что здесь же Мамардашвили говорил о том, что “объективное знание как таковое неотделимо от достоинства и самосознания человеческого существа, от сознания им своего места в мироздании, от сознания высшей личностной свободы и независимости”³. Получается, что объективное знание и его содержательная основа: мировая гармония и мировой порядок – и неотожествимы с человеческим существом, и неотделимы от него. Именно это состояние наиболее точно, на мой взгляд, можно передать понятием “целостность” – понятием, которое не имеет предметной основы и направлено на интегральное определение полноты бытия, как: *первоначального единства всех бытийных содержаний; их разделения и обособления; их глубинной неделимости и взаимообращенности друг к другу*. Названные три компонента и образуют основное содержание данного понятия.

*И. Целостность бытия – художественная целостность – литературное произведение:
логика взаимосвязи.*

Прежде всего надо принципиально развести понятия “целостность” и “целое”, ибо если они, как это часто бывает, содержательно хотя бы в основном совпадают, то по крайней мере в одном из них нет необходимости. Если целостность ориентирована на полноту бытия, “мировую целокупность”, то осуществиться эта полнота может только во множестве различных целых, “имеющих начало, середину и конец”. Можно ли усмотреть здесь просто две разновидности одного и того же целого, так сказать, “большого” и “малого”? Ведь отдельное, временное, то, что приходит и уходит, и то, что есть и пребудет вечно, – это разнородные содержания и разнокачественные системы отсчета. И если их нельзя привести к общему смысловому знаменателю и простой одноименности, то следующий возможный ход мысли: решить вопрос, какое же из них истинное, подлинное целое, радикально отрицающее другое в таком качестве. Или последнее целое полноты бытия единственно реальное, а все остальное – части, момент, если не фикции; или реально только лишь множество отдельных, конкретных целых, а единое и неделимое бытие относится лишь к области умозрений и философских конструктов. И в том, и в другом случае нет необходимости в понятии “целостность”.

Другое дело, если бытие, единое, неделимое и принципиально неосуществимое в своей полноте ни в каком отдельном целом, порождает множество разноликих и разнокачественных, самостоятельных и самоценных целых, – тогда необходимо понятие для выражения единства, разделения и общения друг с другом многих разных целых. Тут-то и обнаруживается необходимость целостности.

Что касается понятия “художественная целостность”, то оно становится актуальным постольку, поскольку можно говорить о творческом воссоздании целостности человеческого бытия в произведении искусства. И как производное от полноты бытия понятие “целостность” является в этой логике содержательно-порождающим основанием конкретного определения целого и части, так и целое литературного произведения и его значимые элементы конкретизируются на основе порождающего по отношению к ним понятия “художественная целостность”.

Произведение художественной литературы, конечно же, не рассказывает о целостности бытия и не показывает ее как некий изображаемый объект или заранее готовое целое, – это принципиально невозможно. Оно творчески осуществляет и воссоздает эстетическое явление полноты бытия, так что коренные свойства – отношения бытийной целостности – становятся непосредственно воспринимаемыми и предстают как единство, разделение и взаимообращенность автора – героя – читателя, художественного мира – произведения – художественного текста, значимого элемента – структуры – целого произведения.

Автор – герой – читатель, пожалуй, с наибольшей отчетливостью представляют единую целостность в трех целых, равнодостоинных, равно- и взаимонеобходимых, несводимых друг к другу, образующих поле интенсивно развертывающихся взаимодействий. Такой подход позволяет на единой основе объяснить и развить в специальных исследованиях систему уникальных свойств-отношений автора – героя – читателя. Во-первых, это сочетание единой сущности и триединой личности, несводимой ни к одному и тому же личностному содержанию, ни к трем разным индивидам – это единство человечества, народа и уникальной индивидуальности в превышающей все их отдельные реализации внутренней, личностной взаимосвязи. Во-вторых, необходимо осмыслить сочетание совместного и нераздельного существования автора – героя – читателя с обособлением и взаимодействием их внутренне разделяющихся позиций, образующих субъектную организацию литературного произведения.

Перейдем к отношению “художественный мир – произведение – художественный текст”. Возникновение художественной целостности как первоэлемента, как “определяющей точки” (Гете)

творческого создания одновременно и нераздельно содержит в себе мирообразующий и текстообразующий исток, и смыслопорождающую направленность, и формоорганизующую перспективу. Эта перспектива саморазвивающегося обособления, развертывания и завершения художественной целостности в творческом создании естественно ставит вопрос о понятии, наиболее адекватно передающем целое этого создания.

Критика традиционной связи такого целого с произведением ведется в современной науке с двух сторон: с точки зрения художественного (поэтического) мира и с точки зрения текста. С позиции текста как наиболее адекватного определения словесно-творческого целого произведение представляется излишне идеально-идеологизированным и потому нормативным, схематичным и узким, как пишет Р. Барт, “традиционным понятием, которое издавна и по сей день мыслится по-ньютоновски”⁴. А с точки зрения поэтического мира произведение предстает, наоборот, лишь как материальный продукт специализированного вида литературной деятельности – продукт, принципиально неспособный вместить в себя целый мир⁵. Эта критика с двух сторон, на мой взгляд, очень поучительна, ибо проясняет то поле напряжения, в котором находится устремленная к наиболее адекватному определению “своего” целого литературоведческая мысль.

Но особенно интересно, по-моему, что в движении каждого из понятий, предлагаемых для определения творческого целого создания искусства, в свою очередь намечается характерное раздвоение. Р. Барт в статье “Семиология как приключение” так противопоставляет текст литературному произведению: “... Это не эстетический продукт, а знаковая деятельность; это не структура, а структурообразующий процесс”⁶. Но ведь эти характеристики не в меньшей мере, чем произведению, противостоят и тексту, когда он понимается как особым образом организованная семиотическая структура, например, у Ю. М. Лотмана⁷.

А вот аналогичный пример в движении понятия “художественный мир”. “Мир, – пишет А. П. Чудаков, – если его понимать не метафорически, а терминологически ... в число своих основных компонентов включает: а) предметы (природные и рукотворные), рассеянные в художественном пространстве-времени и тем превращенные в художественные предметы; б) героев, действующих в пространственном предметном мире и обладающих миром внутренним; в) событийность, которая присуща как совокупности предметов, так и сообществу героев”⁸. Но ведь эта характеристика изображаемого мира явно противостоит, например, трактовке поэтического мира как целого, объемлющего и изображаемый мир, и его изображение, например, в работах В. В. Федорова⁹.

Что же касается литературного произведения, то здесь у одного и того же автора, М. М. Бахтина, мы находим и “внешнее материальное произведение”, и “произведение в его событийной полноте, включая сюда и его внешнюю материальную данность, и его текст, и изображенный в нем мир, и автора-творца, и слушателя-читателя. При этом мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов”¹⁰.

Происходящие сходные разделения различных понятий проясняют, как мне кажется, глубинную проблему определения погранично-объединяющего содержания в том едином, но сложном целом, каким является творческое осуществление художественной целостности. Именно это содержание может быть, на мой взгляд, основой обоснования и раскрытия погранично-связывающей роли литературного произведения как двуединого процесса претворения изображаемой действительности в художественный текст и преобразование текста в форму существования, воплощения художественного мира.

В свете художественной целостности становятся доступными для исследовательской конкретизации и такие важные характеристики литературного произведения, как: двуединство процессов развертывания художественной целостности в каждом значимом элементе и завершения художественного целого в созданном произведении; “неготовность” составных элементов произведения, которые не являются заранее, а лишь становятся художественно значимыми; отсутствие заданной иерархичности отношений элемента и целого.

Последний момент, пожалуй, особенно важен. В строении литературного произведения с принципиально неиерархическими внутренними отношениями воссоздаются такие связи универсальной всеобщности и уникальной индивидуальности, которые противостоят любым формам одностороннего возвышения, абсолютизации и обожествления как любой человеческой общности, так и отдельно взятого индивида. Это касается и неплототворности обожествления человечества в целом – во всяком случае, человечество и конкретная человеческая личность относятся друг к другу не как часть и целое, но как равноценные и равнозначные целые – художественная целостность в идеале проявляет именно такую их взаимосвязь.

Художественная целостность выступает не как организующий принцип, навязывающий элементам произведения схему их организации, своего рода “идею порядка”, а как нечто внутренне

присущее этим элементам, точнее, присущее процессу и энергии их взаимодействия. Взаимодействие здесь оказывается первичным, отражая не первичность человеческой общности, а первичность общения. Воссоздание полноты бытия в художественной целостности равно противостоит в этом смысле и утопической человеческой всеобщности, которая исключает индивидуальную свободу, и абсолютно обособленному индивиду как единственной реальности человеческого существования.

В произведении как художественной целостности равно несомненными и равно достойными являются человечество, народ и конкретная человеческая личность. Они принципиально несводимы друг к другу. Целое произведение – это поле напряженного взаимодействия этих обращенных друг к другу содержаний и благодаря этому – поле порождения различных культурных смыслов, реализующих разнообразные возможности человеческой жизни каждой индивидуальности на своем месте в пределах своей конкретной историчности и органичной ограниченности.

Но тут же надо сказать и о том, что полнота бытия и реальная органичная ограниченность человеческого существования в жизненной деятельности, являясь полюсами произведения как художественной целостности, принципиально неслиянны и противостоят друг другу в его единстве. И возможность проявлять полноту бытия в произведении искусства внутренне связана с осознанием ее неосуществимости в рамках реальной действительности. Целостность бытия проявляется на предельной границе, которая определяет и принципиально превышает все реальные формы человеческого существования. И подлинное уважение к достоинству человека как человека содержит в себе понимание того, что никакой человек – не бог, и никакой народ – не бог, и человечество – не бог, и даже если бога нет, то человек, народ и человечество все равно не бог.

Произведение и здесь проявляет свою погранично-связывающую природу, выступая в данном случае как один из основных факторов культуры. Жизнь культуры и представляет собой историческое разворачивание границ и связей полноты бытия, бесконечного мира, живущего бесконечное время, и конечных форм человеческой природы и человеческого существования, так что существование это оказывается снова и снова осмысляемым и осмысленным, а смысл – осуществляемым и осуществленным.

Литературное произведение в своей сущности “событийно” (М. М. Бахтин) – оно представляет собой снова и снова осуществляемое событие создания – созерцания – понимания художественной целостности “образа мира, в слове явленного” (Б. Пастернак). Это не готовый мир и не готовый, раз навсегда воплощенный и доступный для потребления, смысл, а форма непрестанного порождения поисков смысла, “орган” и “поле” смыслотворения. Заключенный в границах произведения процесс смыслообразования проявляет себя в снова и снова возобновляемых попытках интерпретировать, выразить этот образующийся смысл. Анализ взаимосвязи процессов понимания произведения и понимания произведением – одна из самых актуальных перспектив изучения литературного произведения как художественной целостности.

II. Ритм и художественная целостность

Плодотворным направлением в современной разработке понятия “художественная целостность” представляется его соотнесение с современными философско-культурологическими концепциями единого универсума, где снимается поляризация и абсолютное противопоставление внешнего и внутреннего, природы и человеческого сознания, мира и личности. Говоря о многовековом существовании “двух противоположных способов видения универсума”: “универсум как внешний мир, являющийся в конечном счете регулируемым автоматом... универсум как внутренний мир человека <...>”, – известный современный физик и философ И. Пригожин замечает: “Сегодня, когда физики пытаются конструктивно включить нестабильность в картину универсума, наблюдается сближение внутреннего и внешнего миров, что, возможно, является одним из важнейших культурных событий нашего времени”¹¹.

В самом деле, нестабильность, непредсказуемость, уникальная событийность присущи в той или иной мере и различным природным процессам, а порядок и беспорядок, как пишет тот же И. Пригожин, “возникают и существуют одновременно <...> Космология теперь все мироздание рассматривает как <...> существенно беспорядочную среду, в которой выкристаллизовывается порядок <...> Порядок и беспорядок сосуществуют как два аспекта одного целого и дают нам различное видение мира”¹². Если “хаос порождает порядок” и, с другой стороны, качество свободы внутренне присуще универсуму, то первостепенный интерес для осмысления представляют особого рода сверхприродные самоорганизующиеся организмы со встроенным в них фундаментом свободы. Одно из самых несомненных сверхорганических единств такого рода – художественное произведение, а динамику заложенных в его сущности фундаментальных противоречий органической необходимости и творческой свободы наиболее отчетливо выражает ритм. Он присущ любому художественному целому и в то же время существует в литературном произведении в двух качественно различных разновидностях: стиха и прозы.

Рассматривая процесс становления русского стихосложения, М. Л. Гаспаров отмечает, что «до XVII в. оппозиция «текст стихотворный – текст прозаический» в русской словесности не существовала. Существовала иная оппозиция: «текст поющий – текст произносимый». В первую категорию одинаково попадали народные песни и литургические песнопения, во вторую – деловая проза и риторическое «плетение словес» с его ритмом и формами. Эта оппозиция, взаимодействуя с другими (например, «книжное – простонародное»), давала классификацию форм словесности, не совпадающую с современной»¹³. В этой речевой организации происходит постепенное становление таких первоначально-единых характеристик, которые будут одинаково важны и для стиха, и для прозы, здесь же вызревают предпосылки их саморазвивающегося обособления и структурной взаимообращенности.

В стихе ритмическая закономерность выступает как единый исходный принцип развертывания речи, который изначально задан и может быть выражен в метрической схеме. В прозе же ритмическое единство гораздо более результативно, оно – итог речевого развертывания, а предпосылки и исходные установки этого итога не получают отчетливого речевого выражения. В прозе – единство, кристаллизующееся из многообразия, а не наоборот, как в стихе, многообразие, развивающееся из ясно провозглашенного и непосредственно выраженного единства¹⁴.

Интересна в этом смысле характеристика прозы с поэтической точки зрения в заметках О. Мандельштама: «Для прозы важно содержание и место, а не содержание-форма. Прозаическая форма – синтез. Смысловые словарные частицы, разбегающиеся по местам. Неокончателность этого места перебежки. Свобода расстановок. В прозе – всегда «Юрьев день»»¹⁵. Действительно, в прозе каждый следующий шаг ритмического движения не предопределяется предыдущим, а заново определяется на каждом новом этапе этого движения. Следующая ступень ритмического движения в прозе не диктуется предыдущей, но в них – вместе взятых – проявляется в итоге объединяющий структурный принцип, скрытый в глубинах обычного речевого развертывания. Непредсказуемость очередного шага с точки зрения предыдущего входит в самый этот принцип. Однако отдельные моменты ритмического движения более или менее вероятны с точки зрения той закономерности развивающегося целого, которая не задается сразу же отчетливым единством, но вместе с тем каждый раз проявляет себя в системе складывающихся речевых связей, так что и «Юрьев день» существует в ее внутренних пределах.

Для понимания глубинной ритмической структуры художественного целого и двух типов ее выявления в литературном произведении представляют интерес суждения В. С. Семенцова о ритме поэтического текста: «Воспринимаемый (динамический) ритм – это нарушение фона. В этом определении фоном является любая монотонная последовательность <...> Это может быть, во-первых, абсолютная упорядоченность («метр» в определении А. Белого), во-вторых, относительная упорядоченность (т. е., нечто знакомое, усвоенное применительно к данному воспринимающему сознанию); наконец, это может быть абсолютная неупорядоченность – в этом случае фон есть хаос, т. е. шум. Наряду с «нарушением порядка» существует зеркальное явление нарушения беспорядка, которое следует понимать как возникновение временных частичных упорядоченностей на фоне (доминирующего) беспорядка. Динамический ритм возникает, таким образом, в момент перехода от порядка к неупорядоченности и обратно. Ритм есть не форма, а становление формы, движение. Лишь благодаря этому ритмическому движению мы ощущаем в их противопоставленности начало и конец, неупорядоченность и порядок»¹⁶.

Если воспользоваться терминологией В. С. Семенцова, можно сказать, что в прозаическом ритме возрастает функциональная значимость «нарушения беспорядка» в противовес «нарушению порядка», доминирующему в ритмическом движении стиха.

Но главное, что открывает нам сопоставление ритма стиха и художественной прозы, заключается в том, что единство-множественность, порядок-беспорядок, предсказуемость-непредсказуемость, повторимость-уникальность, необходимость-свобода – все это внутренние полюса глубинной ритмической структуры литературного произведения как художественной целостности. Ритмическое движение осуществляется только между этими полюсами и лишь постольку, поскольку эти полюса несводимы друг к другу и в то же время не могут быть внешне разделены и противопоставлены.

Правда, ритм порой связывают по преимуществу лишь с одной стороной этих фундаментальных противоречий: с природной, органической, телесной или телесно-душевной необходимостью. Вспомним, например, характеристику из ранней работы М. М. Бахтина: «Свобода воли и активность несовместимы с ритмом <...> Свобода и активность творят ритм для несвободного (этически) и пассивного бытия»¹⁷. Аналогичным образом противопоставлял ритм природы аритмии человеческой мысли Я. Я. Рогинский: «Человеческая мысль аритмична по своей сущности <...> человеческий интеллект по самому назначению не может длительно обладать своим собственным ритмом и должен постоянно быть готовым к его нарушению и отмене. Но эта аритмическая деятельность составляет резкий контраст с большей частью функций организма, подчиняющихся строгим ритмам <...> Вполне

естественно, что человек стремится при любой возможности снова вернуться в общий ритм природы, не прекращая работы своего сознания <...> Он как бы одержим ритмами, которых его постоянно лишает его собственная мысль <...> Ритм – это иллюзия, что решение найдено, это осуществленная мечта о покое, возникающем в самом движении”¹⁸.

Однако и то, и другое противопоставление необходимо осознать, на мой взгляд, опять-таки как противопоставление внутреннее, как противостояние полюсов универсума, обращенных друг к другу и порождающих взаимонаправленную энергию. И если ритм природы реализуется и в “нарушении порядка”, и в “нарушении беспорядка”, то аритмия мысли и свободы, в свою очередь, порождает ритмообразующую энергию. Концетрированным выражением этой встречи формирующих энергий является глубинная структура словесно-художественного ритма: первоначального единства, саморазвивающегося обособления и обращенности друг к другу ритма стиха и ритма прозы. В этой своей архетипической основе ритм предстает как необходимая реализация организма, внутренне включающего в себя свободу, – базовое условие самоорганизующегося и саморегулируемого деятельного бытия.

Ритм в своей глубинной основе выявляет энергию того первоначального единства бытия, которое принципиально не сводимо ни к природе, ни к сознанию, ни к субстанции, ни к деятельности. Оно не предсуществует как заранее готовый объект или заранее готовый смысл, а проявляется лишь в разнообразных возможностях своего самоосуществления, не сливаясь ни с одной из его конкретных форм и не сводясь к ней. Ритм есть выражение этой не существующей заранее целостности – целостности, содержащей в каждый момент и стабильность возвращения того, что было, и сюрпризность возникновения уникально нового, небывалого, невозвратного и неповторимого.

Это смысловая диалектика отразилась и в становлении самого понятия “ритм”. Автор глубокого семантико-этимологического исследования истории слова “ритм”, Э. Бенвенист, отмечает, что в доплатоновском языке “ритмос обозначает ту форму, в которую облакается в данный момент нечто движущееся, изменчивое, текущее <...> Это форма мгновенного становления, сиюминутная, изменчивая”¹⁹. И Платон фиксирует эту диалектику стабильности формы и нестабильность мгновенного становления, определяя ритм как порядок в движении.

В дальнейшем в эту диалектику порядка и беспорядка, предела и беспредельности, устойчивого и изменчивого, стабильного и нестабильного все более интенсивно включается субъективно-творческий аспект. И опять-таки ритм предстает как средоточие противоположных полюсов: творца и творения. “Ритм выражает собою отношение творящего к творимому”, – писал А. Ф. Лосев об одном из основных значений этого понятия в античной эстетике²⁰. А впоследствии это отношение опять-таки все больше и больше внутренне раздваивалось и превращалось во взаимоотношенность творящего к творимому и творимого к творящему.

Внутреннее напряжение между двумя противоположными полюсами порождает возможность двух односторонних внешних реализаций ритмической энергии в стереотипах, с одной стороны, “одержания” субъекта объективно-природной ритмической стихией, а с другой, – субъективного ритмического насилия, стремящегося завоевать объективный мир. О последнем выразительно писал Ф. Ницше: “Ритм есть насилие, он родит непреодолимое стремление уступить, последовать вслед за другими; не только ноги, но и душа сама начинает двигаться в такт – вероятно, делали заключение, и души богов! Потому силою ритма пытаются овладеть ими”²¹.

Сопряжение в ритме двух равнонаправленных энергий и сил требует прояснения внутренней духовной установки – творческого усилия, равно противостоящего и бессилию, и насилию, в отношении человека к миру. “Всякий метод есть ритм, – говорил Г. Новалис, – и постижение реальности есть соритмическое биение духа, откликающегося на ритм познаваемого”. Приводя эти слова Новалиса, П. А. Флоренский в материалах к сборнику “У водоразделов мысли” добавлял: “Всякий метод есть ритм: если кто овладел ритмом мира, это значит, что он овладел миром. У всякого человека есть свой собственный индивидуальный ритм ... Ритмическое чувство есть гений”²².

В ритмической энергии проявляется и постигается бытийная единосущность в ее переходе к многообразию форм реального и возможного существования реальных и возможных действительностей. Этот бытийный фундамент глубоко и точно схвачен в принадлежащем Ф. Шеллингу определении ритма как “облечения единства во множество, или реальное единство”²³. Но такое облечение единства во множество есть в то же время и приобщение множества к глубинной единосущности, и тем самым, как пишет далее Шеллинг, есть превращение последовательности, которая сама по себе ничего не означает, в значащую. Превращение случайной последовательности в необходимость = ритму, через которое целое больше не подчиняется времени, но заключает его в самом себе²⁴. Ритм выражает не какие-то определенные значения, а именно переход незначимой последовательности в значащую и необходимую, т. е. процесс смыслообразования в становящемся целом. Процесс этот предполагает органическую

самоорганизованность, саморегуляцию и, вместе с тем, свободную активность каждого вовлеченного в ритмическое становление целого.

В этом контексте важно подчеркнуть, что соотнесенный с художественной целостностью ритмический архетип литературного произведения не является выражением какого-то определенного смысла. В нем не смысл и не субстанция, а направленность и динамическая перспектива смысло- и формообразования. И здесь мне хотелось бы возразить против некоторой “жесткости” одного из определений ритма в книге Е. Фарыно “Введение в литературоведение” – в целом очень полезном и ценном учебном пособии, где сказано много интересного о ритме художественного текста. Е. Фарыно пишет: “Будучи наиболее универсальным и наиболее естественным выражением бытия, ритм в состоянии нести в себе наиболее универсальный смысл (подлежащий постепенному расчленению и постепенной конкретизации). Будучи же естественным поведением человеческого организма, ритм передается непосредственно (сообщается) и гарантирует тождество между отправителем и получателем”²⁵.

Здесь несколько выпрямляются, на мой взгляд, отношения между ритмом и смыслом и возможностями их “передачи”. Если ритм и в самом деле “в состоянии нести в себе наиболее универсальный смысл”, то лишь как динамическую перспективу сотворческого созидания на основе приобщенности к смысловым глубинам бытия. Приобщенности, – что особенно важно, – не раз и навсегда гарантированной и содержащейся в ритме, а проблематичной, не определенной заранее, а рождающейся здесь и сейчас, в уникальном акте подключения к ритмической энергии, творческим усилием каждый раз снова и снова преобразуемой в рождающийся смысл.

И такая динамическая перспектива саморазвивающегося смысла никак не может быть адекватно описана как “тождество между отправителем и получателем”. Тождество – это в лучшем случае “ритмическое насилие” в смысле Ницше, где смысл перестает быть универсальным. И никакого ритмического развития с его ожиданием и неожиданностью, сюрпризностью откликов, ответов на первичный ритмико-смысловой импульс, призыв и вопрос – ничего этого при тождестве быть не может. Если отправитель и получатель и в самом деле едины в ритме литературного произведения, то лишь настолько, насколько единство это содержит в себе необходимость их разделения, развивающегося обособления и насколько оно проясняет как самобытную незаменимость, так и глубинную неразделимость обособленных индивидуально-личностных миров в их общении друг с другом.

Ритм задает траектории объединяющего бытия-общения и сохраняет различную в каждом случае область непреодоленности, порождая на стыках изменяющихся отношений порядка и беспорядка перспективу возможного формирования уникальных событий, – в частности, событий нового значения, восприятия, понимания как будто одного и того же слова или того же самого текста, – а в пределе – уникального события индивидуального существования в том же самом, вечно возвращающемся и возрождающемся мире.

“Образ мира в слове явленный” не дан в литературном произведении как готовый предмет или готовый смысл, он лишь задан в ритме своего возможного соосуществования, внутренне включая в себя выбор и ответственность за характер встречи человека и мира. Результат встречи проблемен и непредсказуем, но решение вопроса об ожидаемых и неожиданных отношениях порядка и беспорядка в мире зависит от каждого акта созидательной деятельности каждого человека, и неизвестно заранее, какая песчинка окажется решающей для судеб мирового целого.

Человечество и вселенная, народ и природа, я и другой – их первоначальное единство, саморазвивающееся обособление и глубинная неделимость живут в художественной целостности и соотнесенном с нею ритмическом архетипе и каждый раз снова и снова стремятся возродиться в ритмическом строе литературного произведения как объединяющая энергия и перспектива смыслообразования. При этом устремленность к смыслу и цели сочетается в художественной целостности с прояснением сознания опасной абсолютизации относительных смысловых и целевых истолкований. Каждое творческое создание и каждая его интерпретация предстают как необходимый и незаменимый шаг в общем процессе смыслообразования, и каждый человек включается в этот общий процесс без претензии быть его абсолютным субъектом, не присваивая себе божественной роли, но и не отказываясь от человеческого соучастия в смылосозидании, от включенности в “соритмическое биение” мира и человека.

¹ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С. 361. ² Вопросы философии. – 1973, – № 8. – С. 99.

³ Там же. – С. 100. ⁴ Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. – С. 417. ⁵ См., например: Федоров В. В. Поэтический мир и творческое бытие. – Донецк, 1994. – С. 5–8. ⁶ Мировое древо. – М., 1993. – С. 82. ⁷ См.: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972. ⁸ Чудаков А. Слово-вещь-мир: От Пушкина до Толстого. – М., 1992. – С. 8. ⁹ См. указанную работу В. В. Федорова. ¹⁰ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 404. ¹¹ Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 48. ¹² Там же. – С. 50. ¹³ Гаспаров М. Л. Оппозиция “стих – проза” в становлении русского стихосложения // Тез. докл. IV летней школы ... – Тарту, 1970. – С. 140; см. также:

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. – М., 1984. – С. 19. ¹⁴ См. об этом подробнее: Гиришман М. М. Ритм художественной прозы. – М., 1982. – С. 263–327. ¹⁵ *Вопросы литературы*. – 1968. – № 4. – С. 194. ¹⁶ Семенов В. С. Ритмическая структура поэтического текста на примере анализа Бхагавадгиты. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1972. – С. 15. ¹⁷ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – С. 105. ¹⁸ Рогинский Я. Я. Об истоках возникновения искусства. – М., 1982. – С. 26. ¹⁹ Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974. – С. 383. ²⁰ Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. – М., 1979. – С. 561. ²¹ Цит. по: Бюхнер К. Работа и ритм. – М., 1929. – С. 281–282. ²² Флоренский П. А. У водоразделов мысли. – М., 1991. – С. 374. ²³ Шеллинг Ф. Философия искусства. – М., 1966. – С. 196. ²⁴ Там же. – С. 298. ²⁵ Faryno J. Wstep do Literaturoznawstwa. Crese 16. – Katowice, 1978. – С. 336.

Русистика

Вып. 11

Київ – 2011

В. В. Федоров (Донецк)

ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ЯЗЫКА

Положение, которое мы намерены обосновать, формулируется следующим образом: язык есть онтологическая форма, осуществляющая собственно человека; собственно человек – онтологически суверенный относительно жизненного существа субъект; жизненное (животное) существо и собственно человек образуют онтологическую общность – целое человека.

Практической формой активности языка, осуществляющего свои функции, является высказывание. Обычно высказывание мыслится как единство знака и значения. А. Потебня уподоблял это единство единству дупла и обитающих в нем птиц, фиксируя онтологическую чуждость этих составляющих, не могущих, по его мнению, образовать единство. Такое единство, однако, существует, что, конечно, не отрицал и А. Потебня, но он, однако, сомневался, является ли этой основой знак.

Есть группа высказываний, преследующих изобразительную цель; это литературные произведения, отражающих жизнь не в понятиях, а в образах. Субъект восприятия литературного произведения интересуется прежде всего предметом: о чем это произведение? И произведение удовлетворяет этот интерес (оправдывает ожидания читателя). Но более сложным образом, чем полагает читатель, который, начав читать, сразу воспринимает героя. Например, открыв роман Пушкина, он сразу слышит монолог Онегина. Но это впечатление оказывается обманчивым. “В пространстве, – утверждает Б. Христиансен в своей книге «Философия искусства», – есть только внешнее произведение, эта обработанная глыба мрамора или раскрашенное полотно...”¹ Или акустическое событие, если речь идет о литературном произведении. Т. е. высказывания, которое должно бы быть величиной, воспринимаемой слушателем или читателем, в пространственно-временной сфере нет. Есть внешнее произведение, т. е. акустическое событие, о котором можно только сказать, что оно не является природным образованием, т. е. звуком, издаваемым животным существом.

Объясняется это тем, что сфера, наличная для высказывания, его автора и воспринимающего субъекта, является структурированной, организованной. Телесная (пространственно-временная) сфера, будучи однопланной, организована тектонически. Литературное произведение, в котором выделяется действительность персонажа (Онегина), является – как минимум – двухпланной, организована архитектонически. Однопланная (тектонически организованная) сфера – по определению – не может осуществить двухпланную (архитектонически организованную) величину.

Тем не менее, читатель воспринимает изображенного человека (Онегина) или природное явление (“рощу, холм и поле”), причем без всякого, тем более чрезвычайного, усилия. – Почему? – Ожидаемый ответ на этот вопрос: потому, что он знает язык, в нашем случае русский. Знать язык значит знать его словарь и грамматику. Это знание может быть аудиторным, усвоенным умозрительно, по учебнику. Аудиторное знание может быть очень хорошим, но такое владение чужим языком можно уподобить хорошему владению протезом. Чтобы понять, чем отличается “естественное” (опытное) знание языка от учебного, обратимся к статье Д. С. Лихачева “Внутренний мир художественного произведения”².

Основное положение этой работы: автор не отражает действительность, но создает ее. (Ученый почему-то избегает термина “автор” и субъектом творения считает “литературу”: литература “переигрывает” действительность. Возможно, здесь сказалось влияние прямого предмета научных интересов автора – древнерусской литературы, – не признающей, как средневековая по своему типу литература, личного авторства.) Созданная действительность может существенно отличаться от

реальной для автора и читателя действительности. Чтобы подчеркнуть сотворенность этой действительности, Д. С. Лихачев вводит термин “внутренний мир”, пленивший воображение литературоведов и тем самым отвлекший их внимание от главного. Главное же состояло в том, что в статье неявно проводится аналогия между творением большого мира и творением “внутреннего мира”. Аудиторным образом усвоенный язык не может осуществлять онтологической (творческой) функции. Он осуществляет функцию отражения внешней действительности в предельно широком диапазоне – от атома до Вселенной. Опытным образом усвоенный (родной) язык осуществляет автора – того, кто может сотворить “внутренний мир”.

Однако творение – не факт, на который стоит только указать, чтобы его увидели все, а проблема. К сожалению, Д. С. Лихачев не последовал совету Р. Декарта и не пояснил значения слов “творить” и “создавать”, ключевых для его концепции “внутреннего мира”. Это, по-видимому, и стало причиной столь скорого забвения его работы, обладающей огромным научным потенциалом, которая, однако, теперь некоторыми юными докторами филологических наук воспринимается как “десятистраничная статейка”. Мы задаем вопрос: что такое акт творения в его самом элементарном выражении (и осуществлении)? Результат этого акта состоит, как показал Д. С. Лихачев, в появлении “нового бытийного образования” – действительности с вязким пространством или персонажа с особенной душевной организацией, которой нельзя найти соответствия в реальном (для автора) мире. Что человеку нужно сделать, чтобы такой предмет появился? Ему нужно вообразить себя в этот предмет. Акт творения есть акт воображения. В акте воображения обязательно присутствует онтологическая составляющая: автор превращает (воплощает) себя в тот предмет, который он воображает.

Телесный, жизненно определенный, субъект не может осуществить акт воображения. Воображение – не акт деятельности, произвольно совершаемый человеком, но онтологическое усилие, производимое архитектурно организованным субъектом. Мы полагаем, что воображающий – субъект, осуществляющийся языковыми формами. Языковые формы являются первичными относительно телесных форм, в том числе жизненных, формирующих субъекта телесного существования, каким является фабульный персонаж.

Языковое бытие не может осуществляться так же прямо и непосредственно, как и телесное. С другой стороны, субъект не может отказаться от бытия, поэтому он вынужден осуществлять его опосредствованно – через существование тех, в кого он воображает и превращает себя. Языковое бытие автора является первичным относительно существования телесных и преимущественно жизненных существ. Телесные существа появляются вследствие онтологической необходимости – как совокупность практических форм осуществления языкового бытия автора (собственно человека). У телесных субъектов нет своей причины бытия, они не являются самобытными существами. Причина возникновения и существования фабульной действительности и телесных существ, в ней пребывающих, – превращенное состояние субъекта языкового бытия. Телесные субъекты осуществляют онтологически служебную функцию: своим – непосредственно телесным – существованием они совершают бытие автора.

Такое соотношение представляется несколько унижительным для субъектов телесного, в том числе жизненного, существования; “для себя” они существуют, оказывается, только для того, чтобы посредством своего бытия осуществлять бытие автора. Человек мнит себя субъектом жизненного существования, и его онтологические амбиции могут быть оскорблены тем, что его усилия, направленные на достижение своей цели, есть лишь средство достижения цели автора, которые могут не только не совпадать с целями человека (как он себе себя представляет), но и быть их противоположностью.

Конечно, если мы эту ситуацию будем рассматривать “от субъекта фабульного существования” (например, Онегина), то она очевидно предстанет как своего рода онтологическая несправедливость. Но исследователь (как филолог) обладает известным преимуществом перед фабульными персонажами. Он находится в позиции внежизненной (внефабульной) находимости. Следовательно, филолог знает нечто такое, что принципиально невозможно знать персонажу как жизненному существу. Это знание – потустороннее относительно фабульной действительности. При этом речь идет не об источнике знания, но о его типе. Выше мы утверждали, что фабульный персонаж – онтологическая форма осуществления языкового бытия автора. Это утверждение претендует на определенное знание, и эта определенность, согласно логике нашего рассуждения, конкретизируется как потустороннее. И естественно возникает вопрос: что в этом знании “потустороннего”? – Отвечая на него, мы хотим прежде всего указать на “ситуативность” этого знания: оно выработано не субъектом, которому предмет знания предстоит. Фабульного персонажа может воспринять созерцатель, т. е. также – своеобразный – фабульный персонаж. Этот персонаж удостоверяет существование других фабульных персонажей –

Онегина, Татьяны Лариной и др. Причем, созерцатель Онегина, как и сам Онегин, не знает, что общая им онтологическая сфера (фабульная действительность) есть план сферы бытия автора. Позиция внефабульной находимости, которую занимает филолог, определяется относительно этой действительности как потусторонняя. Факт, что это утверждение выговаривает тот же самый филолог, который, сформулировав данное положение, захочет покурить, откроет форточку и проч., не отрицает потусторонности этого утверждения, поскольку того предмета, о котором знание выговаривается, находится “по ту сторону” действительности, в которой есть форточка и филолог, приоткрывший ее.

Укажем на некоторые факторы, сопротивляющиеся признанию существования потустороннего знания. Автора (Пушкина) мы мыслим как субъекта, обладающего своим бытием, но и признающего за другими право обладать своим. Эта характеристика указывает на то, что бытие Пушкина-автора отвечает этическим требованиям, но оно не является корректным относительно автора как своеобразной онтологической величины. Автора называют “Пушкин” и фактически отождествляют его с Пушкиным как субъектом жизненного существования. Но мы уже знаем, что телесное существо автором быть не может по причине его тектонической по типу организации. Пушкин-автор – архитектурно организованный величина, в которой фабульная действительность и сущие в ней реалии – план его бытия. Фабульная действительность относительно Пушкина-автора определяется как его иноформа. Превращенное (авторское) бытие Пушкина вырабатывает для себя форму, через которую оно осуществляется, эта форма и есть фабульная действительность. Совокупность фабульных персонажей, пребывающих в этой действительности, суть совокупность форм его превращенного бытия. Пушкина-автора невозможно вычленил из этой совокупности и противопоставить фабульным персонажам как его онтологической “обслуге”. Пушкин-автор присутствует – как ее внутренняя форма – в каждой, пусть самой незначительной, фабульной величине. Пушкин-автор есть внутренняя форма как дворового мальчика, так и Онегина. Внутренних форм, конечно, не столько же, сколько фабульных персонажей разной степени значимости: внутренняя форма одна, но она присутствует в персонаже не как его “доля”, но во всей ее полноте (разница в степени интенсивности ее активности).

Внутреннюю форму невозможно “отслоить” от персонажа и противопоставить автора (осуществляемого внутренней формой) персонажам, существующим в телесных – внешних – формах. Пушкин-автор есть внутренняя форма персонажа (это внутренняя форма персонажа); персонаж есть внешняя форма Пушкина-автора (это внешняя форма Пушкина-автора). Нельзя сказать, что персонаж может осуществляться как во внешней, так и во внутренней форме. Пушкин-автор в одной из своих внешних форм есть Онегин, в другой – жук, который жужжал, и т. п.

Внутренняя форма есть то, что осуществляет центростремительную онтологическую направленность фабульных персонажей; внешняя форма – то, что осуществляет центробежный вектор. В первом случае внешние формы тяготеют к внутренней, сбегаясь к ней; во втором – тяготеют друг к другу и к фабульной действительности, “разбегаются” от внутренней формы.

Мы указали на онтологическую независимость собственно человека от субъекта жизненного существования и даже подчеркнули ее, чтобы несколько пошатнуть весьма устойчивое представление о человеке как “улучшенной” версии животного существа. Но это, конечно, не должно привести к выводу о мнимости единства человека, но к необходимости пересмотреть своеобразие этого единства, поскольку выясняется, что тело, осуществляющее жизненную функцию, такой основой быть не может. Единство человека – не единство органов, в том числе и мозга, а единство субъектов, осуществляющих, с одной стороны, свое онтологически специфическое существование, с другой – образующее онтологическую величину, для которой наиболее корректным термином является термин, который введен в филологию М. М. Бахтиным, – “целое человека”. Итак, человек есть “единство трех лиц”: целое человека, собственно человек и субъект животного существования (“зверь”). При этом, собственно человек и, соответственно, целое человека суть субъекты, осуществляемые языковыми формами в их превращенном, т. е. недолжном, состоянии.

Мы сформулировали положение о человеке как онтологической величине, составляющими которой являются относительно самостоятельные субъекты, и привели некоторые аргументы, подтверждающие языковой характер онтологической основы этого “бытийного образования”. Разумеется, это лишь гипотеза, которая потребует дальнейших усилий для того, чтобы она стала в результате достоверным знанием.

¹ Христиансен Б. Философия искусства. – СПб., 1911. – С. 59. ² Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 1968. – № 8.

С. К. Росовецкий (Київ)

ЕЩЕ РАЗ О БУДУЩЕМ ЛИТЕРАТУРЫ

Предлагаемое эссе есть попытка взглянуть новыми глазами на футурологический прогноз, напечатанный мною полтора десятка лет тому назад в малотиражном и мало кого заинтересовавшем юбилейном сборнике¹, решить, оправдался ли он, и учесть возникшие с тех пор в развитии литературы тенденции.

Та старая работа отталкивалась (в смысле почти буквальном) от статьи Д. С. Лихачева “Будущее литературы как предмет изучения” (1977 г.)². Теоретически осмысливая свой опыт древника, авторитетного исследователя древней русской литературы, и в первую очередь переломного для нее XVII ст., ученый рассматривал восемь направлений, в русле которых русская литература начала тогда, в XVII ст., трансформироваться и судьбу которых прослеживает до последней четверти XX ст., а именно: “постепенное снижение уровня прямолинейной условности”, “возрастание организованности”, “возрастание личностного начала”, “увеличение «сектора свободы»”, “расширение социальной среды”, “рост гуманистического начала”, “расширение мирового опыта”, “расширение и углубление читательского восприятия литературного произведения”. Однако собственно футурологический аспект работы разочаровывает – и потому, прежде всего, что Д. С. Лихачев по большей части просто транспонировал описанные им тенденции в будущее.

Тяжело не увидеть в этом воплощения главенствующей в СССР казенной идеологической модели исторического оптимизма, заметного, кстати, и в заглавии сборника, в котором статья была впервые напечатана, “О прогрессе литературы”. Ведь и позднее, в середине 80-х гг., Д. С. Лихачев призывал современников: “Правильно развивать способности молодежи к научному труду, каковым станет всякий труд, – задание первоочередной важности”³. Есть здесь и мечта рафинированного интеллигента, “представителя школы Ленинградского университета, выросшего в типично средней петербургской семье и учившегося в типичных петроградских школах”, – мечта о направлении культуры тоталитарного государства в более-менее цивилизованное и толерантное русло. Эту мечту автор статьи будет пытаться претворить в жизнь во время сумбурной и лицемерной горбачевской “перестройки”. Что же касается прогнозов, то они, как легко удостовериться, не оправдались, либо оправдались, да как раз наоборот, либо совсем не так, как представлялось Д. С. Лихачеву ...

Предусматривался, в частности, последующий “рост личной культуры читателя”, еще больше, мол, окрепнет “внутренний авторитет критики” (С. 200–201). На деле же на российского читателя выплеснулся безудержный вал “массовой литературы”, в частности, порнографической – сперва западного, а потом уже и отечественного разлива. А если и серьезные писатели редко обходятся теперь без матерного словца, то это, конечно же, тоже весьма благотворно сказывается на “личной культуре читателя”. Ожидалось, что критика будет “формировать эстетические представления читателей, исходя из которых, читатель в какой-то мере сам будет видеть достоинства и недостатки произведения” (С. 201). Имеем теперь на вершине критической пирамиды капризного питерского гуру Виктора Топорова, основную же массу критиков составляют блогеры, руководствующиеся немудреной методикой “нравится – не нравится”. А о каком “авторитете критики” можно говорить, например, на Украине, где в 90-е издавался журнал, в котором писатель мог, как утверждают, за деньги заказать положительную рецензию на свой опус? Что же касается читательской массы, то она из аудитории критики превратилась в объект рекламы.

Особенно же умиляет предвидимое академиком “возрастание организованности”. Нет, речь идет не о жутковатом совершенстве внешней организации литературного процесса в СССР, с её кагебистами на командных должностях в союзах писателей, четкой иерархией писательской номенклатуры, плановой издательской политикой и замечательной (вот это без дураков!) системой книготорговли и книгораспределения. Д. С. Лихачев писал о грядущем усилении в литературе “начала сознательного, интеллектуального”, которое “идет вопреки отдельным элементам возвращения к стихийности в абсурдном творчестве, вопреки временному росту интереса к иррациональному и экзистенциальному в философии, вопреки отдельным модам на «расторможенный стих» и проч.” (С. 176). Кого теперь волнует “расторможенный стих” – равно как и не расторможенный? И разве не радует нас “интерес

к иррациональному и экзистенциальному” в условиях нашего времени, когда успешный автор боевиков может и не догадываться, что слово “сказал” следует время от времени заменять синонимами?

А вот “увеличение «сектора свободы»” и “расширение мирового опыта” действительно произошли, да только не так, как это виделось советскому академику. Отнюдь не желая благонамеренно вести “поиски новых форм с учетом всего многовекового опыта литературы” (С. 187), российские писатели заполнили лакуны, вызванные идеологической и моральной цензурой советских времен (хорор, фэнтези, эротика женских “любовных романов” и пр.) и, в частности, вместо того, чтобы заботиться о “росте гуманистического начала” в литературе, довели, по-видимому, изображение “чернухи” до возможных в литературе пределов, при этом, иной раз (В. Сорокин, Ю. Мамлеев), исходя и из отечественных традиций. Любопытно, что в романах Д. Донцовой (по внешним признакам их все же приходится числить в составе литературы), расчет на массового читателя парадоксально сочетается с подчеркнутым антидемократизмом.

С особенным умилением читаются теперь страницы работы Д. С. Лихачева, посвященные грядущему “расширению мирового опыта”. Любопытно, лукавил он сознательно или добросовестно обманывался, когда писал: “Для использования всех (мировых – С. Р.) традиций и всего опыта сейчас, в условиях социалистических стран, фактически нет преград – ни национальных, ни временных” (С. 193)? Или в таком вот пассаже: “Исчезновение наций и освобождение национальных ценностей от их национальной ограниченности – социально детерминировано. Эти ценности должны войти в социалистическое начало жизни и стать достоянием всех”. С другой стороны, прекрасно, конечно же, было бы, если бы воплотился в жизнь такой прогноз: “В будущем национальная ограниченность литератур должна исчезнуть, национальные же ценности – оплодотворять опыт литератур всех стран” (С. 194). Увы! Сейчас мы наблюдаем отнюдь не свободную капиталистическую конкуренцию национальных литератур, а типичную монополию на российском книжном рынке англо-саксонской (шире – западно-европейской) литературной продукции, при этом ни о каком равноправии речь не идет: если почти каждый полицейский “бестселлер”, вышедший в США, через пару лет обязательно переводится и издается в России, то “обратная связь” минимальна. При этом квалифицированных переводчиков с русского на Западе единицы, и очередь к ним растягивается на годы.

Разочаровавшись в методе, использованном Д. С. Лихачевым, я в упомянутой давней статье попробовал пойти другим путем, а именно исходя из понимания фольклора и литературы как двух форм духовной деятельности человечества, в истории которого первая уступает место второй. Если же литература, в свою очередь, должна будет смениться новой формой духовной деятельности, кое-что в структуре этого гипотетического приемника литературы можно было спрогнозировать, как я полагал, уже тогда – и еще с большим основанием теперь, когда это будущее литературы приблизилось еще на полтора десятка лет. Воспользуемся ли мы при этом гегелевской “спиралью”, обратимся ли к биологической модели мутации – обязательно в этой следующей, третьей форме должен будет присутствовать “общий, основанный на трансформациях тип” (И. В. Гете), а также найдутся (в “снятом”, конечно, виде) определенные возвращения к морфологии первой стадияльной формы. Иными словами: речь идет о “внуке” фольклора; будучи непосредственным порождением “матери”-литературы, он унаследует кое-что существенное и от “деда”.

В дальнейших рассуждениях будем принимать во внимание и фактор технического прогресса в способах передачи информации, который, как оказывается, решительно вторгается в тонкие процессы воспроизводства постулированных О. Шпенглером в “Закате Европы” констант “морфологии культуры”. Ибо уже возникновение литературы, как известно, было обусловлено изобретением письменности, подарившим человечеству возможность сохранить словесный текст посредством небиологических средств – знаков на камне, глине, пергамене, бумаге, магнитных носителях и т. п. Со временем эта материализация результатов духовного труда человека приняла вид обычной для нас книги, а литература (далее имеем в виду только художественную литературу), постепенно освобождаясь от реликтов (или, используя термин Е. Б. Тайлора, пережитков) устной своей предыстории, вступила с традиционным фольклором в следующие, давно известные, детерминации или противопоставления:

Фольклор

синкретизм
синтетичность
всенародность
традиционность

/

Литература

эстетическая функция
словесная форма текста
элитарность
новаторство

безличность	/	авторское, личностное творчество
теоретическая неосознанность, бессознательность творчества	/	высокая степень “теоретического самопознания” (К. В. Чистов)
реализация и распространение текста с помощью биологических средств коммуникации, хранение его в памяти человека	/	небиологический способ фиксации и распространения текста

Как легко в том убедиться, соответствующие внутренние особенности и фольклора, и литературы обнаруживают ярко выраженный системный характер. А известно, что в сложных системах (обе же эти составные части “словесной культуры” являются именно такими) изменения компонентов происходят с разными интенсивностью и скоростью, а также не одновременно. Следовательно, получаем возможность уже в наше время поискать в литературе приметы ее начавшейся трансформации.

Тогда, в 1996 году, я задавал себе вопрос: не знаменует ли бурное развитие документальных жанров в мировой литературе 60–90-х гг. XX ст., неосознанное воссоздание фольклорной установки на достоверность в жанрах информационно-исторических, таких, как историческое предание или историческая песня? Далее, я вспоминал советские эксперименты 20–30-х гг. А. М. Горького и РАПП – от “призыва ударников в литературу” и до написания коллективом писателей романа о “перековке” врагов народа на стройке Беломорканала или до идеи глобальной адаптации мировой классики для нужд рабочих и красноармейцев. Коммунистически-государственническая ангажированность этих начинаний только подчеркивает их родство в аспекте стадияльном с такими разнообразными явлениями в литературном процессе и масскультуре Запада, как “отмена автора” Р. Бартом, М. Фуко и адептами интертекстуальных изучений, индустрия дайджестов классики, комиксов, бесконечных “продолжений” и даже “опережений” сюжетов “Унесенных ветром” или “Поющих в терновнике”. Теперь я связал бы эти параллели также и с определенной демократизацией литературы, которая по-разному, однако синхронно происходила по обе стороны “железного занавеса”.

Однако для меня остается несомненным, что основные изменения в литературе происходили, происходят и будут еще некоторое время происходить в корреляции с трансформациями материального средства ее экзистенции – книги, а она успела уже пережить в течение своего существования несколько настоящих технических революций. Это изобретение папируса в древнем мире, пергамента и книжного переплета (вместо античных свитков) в средневековье, распространение бумаги на Европу, что позволило удешевить книгу. Это книгопечатание, которое еще более демократизировало её, одновременно технически поддерживая тенденцию к стабильности литературного текста. Это – уже на наших глазах – появление клеевых оправ, компьютерного (электронного) набора и верстки. Однако эти технические усовершенствования не должны заслонять от нас не таких очевидных и заметных изменений в статусе книги и в ее эстетике.

Продемонстрировать их поможет сопоставление средневековой рукописи с современным печатным изданием. Там настоящие (не из поговорки!) доски переплета, обтянутые тисненой кожей, украшенные фигурными жуковинами и застежками, там страницы с широкими, несмотря на дороговизну пергамента, полями, с многокрасочными заставками, инициалами и миниатюрами, творцы которых при иллюстрировании текста иногда, как это видим в Радзивилловской летописи, пытаются передать каждое движение персонажа, во всяком случае, каждую новую мизансцену, а то и “раскрывают” метафоры текста, как в Киевской Псалтыри. Чтение такой книги определялось христианским ритуалом (только помолившись сначала, только вслух – чтобы другие тоже получили возможность послушать и обогатиться духовно), а иногда и календарем: житие святого следовало читать в день его памяти, торжественные “слова” – на соответствующие праздники. И не удивительно: сакральные тексты безусловно преобладали в массе средневековой книжности.

А что теперь? Если в двух словах, то современная книжка уже лишена реликтов фольклорного синкретизма (соотношение сакральной и светской книжности теперь находятся в обратной пропорции к средневековому) и синтетичности, еще сбереженных в средневековом кодексе. Главным реликтом прежней синтетичности оставалась в XX веке книжная иллюстрация. Есть, кстати, внутренняя ирония в том, что М. Маклюэн, выстраивая свою историческую схему развития культуры, первый период,

дописменный или “слуховой”, противопоставляет второму, связанному с “визуальной кодификацией”. Конечно же, знаки письменности воспринимаются глазами, однако именно письменность лишила реципиента текста возможности и зрительно воспринять акт исполнения произведения, который в фольклоре всегда есть зрелище. Иллюстрирование надписи на камне, а, в конечном счете, книги призвано было хоть как-то наверстать потерю этого визуального компонента прежней синтетичности.

Вне этой первобытной функции иллюстрирование “взрослой” книги абсурдно, и вполне можно согласиться с Ю. Н. Тыняновым, что истолкование словесного произведения художником “представляет сомнительную ценность”⁴. И в самом деле, почему это Г. Доре, такой же читатель романа Сервантеса, как и я, навязывает мне свое видение внешности Санчо Пансы? Вспомним и такой парадокс: есть гениальные листы графики, выполненные как иллюстрации к литературным поделкам, и есть шедевры литературы, которые заведомо не могут быть адекватно проиллюстрированы. Отметим также, что в последние десятилетия медленный, но неуклонный процесс исчезновения иллюстраций в изданиях художественной литературы (для взрослых, понятно) явно был связан с развитием других, также визуальных, средств культурной информации: разве случайно, например, отказ издателей от тоновых и цветных рисунков на отдельных листах (речь снова о “взрослой литературе”) совпал с нашествием киноверсий литературных произведений – намного более совершенных в техническом отношении и гораздо более иллюзорных соперников книжной иллюстрации, а нынешний полный отказ от иллюстрации, размещенной внутри книжного блока, – с колоссальным распространением видео, теперь уже и стереоскопического?

А впрочем, ощутимый зрительный аскетизм современного издания литературного произведения (стоит ли уточнять, что идет речь не о халтуре?) – это лишь один из важных, хоть и несознательных шагов нашей культуры к осознанию той объективной истины, что словесный текст есть явление идеальное. Это шаг к преодолению средневекового еще представления о тождественности текста и его материального воплощения. За примерами далеко ходить не нужно: достаточно вспомнить времена сталинщины, когда за утилитарно-физиологическое, скажем так, употребление лоскутка газеты с речью “вождя” человек мог оказаться на Колыме. С другой стороны, осознание идеального характера словесного текста облегчается для нашего современника и очередным витком в развитии культуры, опять-таки спровоцированным техническим прогрессом – на сей раз усовершенствованием электронных средств информации и развлечения.

Вот-вот настанут времена, давно уже обещанные футурологами и фантастами (от Рея Бредбери до россиянина Сергея Криворотова), когда традиционные бумажные книги обывателям больше не понадобятся. Уже появились портативные электронные книги с достаточно большой памятью, куда можно закладывать электронные версии литературных текстов. Теперь любитель читать текст в электронном виде уже не привязан к своему стационарному компьютеру или ноутбуку. Сканирование уже напечатанных текстов серьезно нарушает права писателей и книгоиздателей, равно как и выставление их в Интернете так называемыми “электронными библиотеками”. Однако почему-то не задумываются над тем, как эта новация отразится на внутренних качествах самой литературы и в каком она окажется соотношении с настоящим монстром современной цивилизации – с массовой видеокультурой (МВК). Между тем эти явления следует рассматривать в комплексе, ведь совокупное их воздействие призвано ускорить ту мутацию литературы, сигналы о которой начали появляться, как мы видели, уже на пороге электронной эры.

А произойдет, по нашему мнению, окончательная передача литературой МВК всех ее, литературы, фольклорных атавизмов и реликтов. Структурную идентичность “маскультуры” и фольклора показал еще в 50-х гг. М. Маклюен, и упрекнуть выдающегося канадского культуролога можно разве что в поспешном отождествлении “маскультуры” с традиционной устной традицией. Но сначала о том, что случится, когда бумажная книга исчезнет, с художественной литературой.

Метаморфоза литературы ускорится, ибо “сектор свободы”, об увеличении которого как об одной из закономерностей становления литературы нового времени писал Д. С. Лихачев (С. 216 и др.), существенно распространится и на ментальность потенциального читателя, в частности, на сферу его личного выбора. Действительно, когда наш современник хочет отдохнуть с книгой в руках, он достает ее с полки. Когда же эта полка станет ненужной, что вызовет он на один из экранов своих домашних электронных игрушек – текст романа, чтение которого является достаточно сложной интеллектуальной деятельностью, или его видеoversию, восприятие которой именно этого, умственного труда потребует намного меньше? Тогда окончательно канут в Лету дайджесты классики, “романы для домохозяек”, фотороманы, комиксы для взрослых и тому подобное – все эти мосты между остатками народной словесной культуры и литературой будут снесены половодьем МВК.

И вот какой прогноз предлагал я 15 лет тому назад уже о внутреннем развитии в этих условиях самой литературы. Мне казалось тогда, что литература будет развивать дальше свои, лишь ей присущие свойства. И прежде всего, что она окончательно лишится рудиментов фольклорного синкретизма. Никто уже не станет читать роман Н. Г. Чернышевского, дабы узнать, “что делать” ему с Россией, и попытки А. И. Солженицына подражать в этом “революционеру-демократу” будут восприниматься именно так, как того заслуживают. Пригаснет и информационная функция литературы, сохраняющая в наше время еще читателей у ряда прозаиков, демонстративно пренебрегающих формой своих творений. На первый план наконец-то выйдет эстетическая функция, а при оценке текстов даже в сплошь заидеологизированной России победит “гамбургский счет”, за который безуспешно ратовал некогда В. Б. Шкловский. Молодые люди будут знать, что, избрав судьбу писателя, не получат привилегий, не заработают славу или деньги, сравнимые с известностью и гонорами теле- и эстрадных “звезд”. И уже не в поэзию придут продать свой талант будущие Коротичи.

Литература станет по-настоящему личностной, и новаторство, оригинальность будут цениться в ней не декларативно, как теперь, а искренне. Отсюда неотвратимое усиление ее *элитарности*. Не потеряет ли такая литература читателей? Потеряет, конечно, но не всех. Всегда будут существовать люди, которые не смогут не писать и будут ценить свой талант настолько, что не пойдут сценаристами на службу к МВК, и люди, которые будут мечтать стать такими, как они. Если же присоединить к ним всё растущую армию интерпретаторов (научных и не очень), переводчиков, студентов, преподавателей и учеников, – уже и этого человеческого материала хватит, чтоб обеспечить тот минимум “читательского пространства”, без которого литература уже не смогла бы развиваться дальше. Сужение круга читателей – это еще не гибель литературы.

Литература – пусть это и только что спрогнозированная суперэлитарная “сверхлитература” – всегда останется совокупностью текстов, использующих антропогенные коды, – и эта её особенность отнюдь не зависит от специфики очередной технической игрушки, с помощью которой можно будет эти тексты прочитать. Проще сказать, человек человека поймет. Останется и вечный стабилизатор, сберегающий устойчивость литературного корабля среди самых головокружительных формальных изысков – отечественная и мировая классика. С другой стороны, задумывались ли мы над тем, почему так уменьшилось в последние десятилетия количество шумных литературных манифестов, которые еще в 20-ые гг. составляли яркое воплощение присущего литературе “теоретического самопознания”? Не потому ли, что центр этого самопознания передвинулся на мировую классику – именно мировую, ибо всемирная литература уже на наших глазах превратилась из понятия скорее абстрактного в полнокровную и многокомпонентную систему. Поэтому рядом с исследователями литературы отечественной (историками ее, критиками, текстологами и др.) все большее значение будут приобретать интерпретаторы и переводчики иностранных литератур.

Вот такой был прогноз, однако не открещиваясь от него в целом, приходится теперь признать, что осуществление его сильно замедлилось. Спровоцировал это не учтенный тогда по ряду причин фактор. Речь идет о влиянии, оказываемом на развитие традиционной литературы, так называемого мэйнстрима, особым видом литературы, возникшим в последнее десятилетие, а именно литературой сетевой. Явно прогрессирующее в последние годы сужение круга читателей художественной литературы парадоксальным образом не привело к неизбежному, казалось бы, уменьшению количества пишущих – и именно потому, что в сетевой литературе грань между читателем и, так сказать, писателем размылась. Какая уж там элитарность! Каждый имеет возможность вывесить свое произведение на порталах “Самиздат”, “Поэзия.ру” или “Проза.ру” и тем самым опубликовать его в Интернете. При этом, если одни “бумажные” издатели считают интернетные публикации реальными и не желают покупать права на уже вывешенные в Интернете тексты, то другие не обращают внимания на то, что происходит в Сети. В Интернете же каждый имеет право выступить и как критик, оставив на “форуме” свой отзыв (“коммент”) о прочитанной на сайте вещи. Не приходится удивляться, что нижняя граница качества и самих произведений, и их критики у сетевой литературы гораздо ниже, чем у традиционной “бумажной”. При всём при этом “бумажная” и “сетевая” литературы вступают во взаимодействие: сделав себе имя в Интернете, некоторые авторы начинают публиковаться в “бумажных” изданиях, наиболее же популярные романы, вышедшие в бумажных издательствах, как уже отмечалось, незаконно сканируются и размещаются на сайтах, откуда их можно бесплатно или за плату скачать.

В качестве определенного индикатора количественных и качественных параметров сетевой литературы могут служить поэтические и прозаические конкурсы, которые достаточно часты в Рунете. При этом конкурсы, скажем, поэм или романов именно в Сети проводятся чрезвычайно редко, в отличие от конкурсов стихотворений и рассказов. Почему? А дело в том, что производство текстов небольшими “порциями” не только наиболее доступно для начинающих авторов, но и отвечает некоторым общим

закономерностям существования современной культуры, замеченным культурологами. Так, Э. Тоффлер констатировал появление “нового вида культуры, с разорванными, быстро исчезающими, быстро-течными изображениями”. Исследователю казалось, что современные, передовые потребители таким образом организованной информации, “вынужденные глотать огромное количество коротких фрагментов” её, “учатся делать и формулировать свои собственные «цепи» из материала, которым стреляют в них новые способы коммуникации”. Любопытно, что в конце 70-х гг. Э. Тоффлер считал, что такая трансформация информационной структуры “ведет в направлении большей индивидуальности, демасификации как личности, так и культуры”⁵. Однако в более поздних изданиях цитированной книги “Третья волна” он снимает этот оказавшийся чересчур оптимистическим прогноз.

Итак, пристрастие сетевой литературы к малым жанрам соответствует “клиповой” ментальности современной масскультуры. В дальнейшем я использую материал двух сетевых конкурсов рассказа, проведенных в 2010–2011 годах. В первом, “Белая скрижаль – 2010”, участвовало, согласно сообщению координатора, более 3000 рассказов, для участия во втором, “Пятом конкурсе короткого рассказа журнала «Чайка»”, жюри отобрало 307 текстов. Напомню, что когда известный издатель пушкинских времен А. Ф. Смирдин решил издать сборник “Сто русских литераторов” (т. 1, 1839 г.; т. 2, 1841 г.), оказалось, что он чересчур размахнулся: набрать достаточно эстетически полноценных прозаических текстов от ста авторов (“литераторов”, а не писателей!) ему не удалось. Конечно же, количественный фактор тут не главный, но всё же ... Однако вот один из участников “Пятого конкурса ...”, подытоживая свои наблюдения, констатирует, что среди прочтенных им “больше текстов ремесленных ... <...> И так же много уж совсем никаких”. Любопытно и его замечание о “коментах” участников: “Они полностью отображают ситуацию с текстами! Один в один! Большинство не видит выше своего литературного уровня – то есть нравится нечто подобное написанному самим”. Иными словами, критические потенции большинства участников коррелируют с творческими. Однако что стоит за определениями текстов как “ремесленных”, “совсем никаких”? Речь идет о рассказах, построенных по уже использованным в литературе моделям, принципиально вторичных по сюжетике, написанных канцелярским языком со штампами либо опять-таки стилизованных под уже известные индивидуальные манеры. Общей чертой таких текстов является пренебрежение языком произведения вообще. Одна из участниц конкурса спрашивает в “коменте”: “Почему так много внимания уделяется чисто технической, структурной стороне? Мне всегда казалось, что главное, чтобы было ЧТО сказать и КАК, чтобы донести до читателя. И если есть это, то остальное уже проще: сиди себе, полируй каждую строчку. <...> Но если уж совсем не хочешь или не умеешь, всегда можно скинуть на кого-нибудь. Даже в Сети есть достаточно опытных фрилансеров для такого дела: вычешут, выгладят, откорректируют. <...> Иногда даже комментаторы ругают друг друга за орфографические ошибки. Какая разница? Посмотрите, какой сленг в Сети ради скорости создали наши дети”.

Если же присмотреться, то за указанными особенностями сетевых текстов и их “критики” легко угадываются особенности, генетически восходящие к фольклорному творчеству с его стереотипностью сюжетов и стиля, ослаблением авторского начала, отсутствием “теоретического самопознания”. Таким образом, сетевая литература выступает одним из наследников фольклора в его вечном соперничестве и сотрудничестве с литературой, литература же традиционная, “бумажная” получает, таким образом, более высокий статус. А это всё-таки обещает ей в будущем, перед собственно исчезновением, стадию элитарности.

¹ *Росовецкий С. К.* О будущем литературы // Мысль, слово и время в пространстве культуры. Сборник посвящен 85-летию проф. В. А. Капустина. – К., 1996. – С. 178–184. ² *Лихачев Д. С.* Будущее литературы как предмет изучения // Лихачев Д. С. Прошлое – будущему. – Ленинград, 1985. – С. 168–202. Далее страницы этой работы указываем в тексте. ³ *Лихачев Д. С.* Заключение // Лихачев Д. С. Прошлое – будущему. – С. 575. ⁴ *Тынянов Ю. Н.* Иллюстрации // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С. 311. ⁵ *Тоффлер Е.* Третья волна / Пер. с англ. – К., 2000. – С. 150–151.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в формировании новых выпусков “Русистики”. Статьи и материалы просим высылать по адресу: 01601, Киев, ул. Владимирская, 58, к. 9, e-mail: ros_mova@ukr.net. Контактный телефон: (+38044) 239-34-69.

Редколлегия рассматривает материалы, которые соответствуют следующим требованиям:

- объем – 5 – 10 страниц через 1,5 интервала (формат А4);
- шрифт Times New Roman, размер 14, стиль “Нормальный” (весь текст);
- абзац – 0,5 см; длина строки – 16 см; страницы не нумеруются;
- инициалы (перед фамилией) и фамилия автора печатаются на первой странице справа (NB! Все инициалы в тексте набираются через неразрывный пробел – см. прим.);
- название статьи печатаются прописными буквами посередине;
- текст набирается без переносов;
- стихи печатаются с абзацным отступом 4 см, размер шрифта – 12;
- примеры в статьях по лингвистике выделяются курсивом, исследуемая единица – полужирным курсивом, толкование заключается в апострофы ‘’, и после двоеточия приводится контекст слово- / фразеупотребления, в круглых скобках шрифтом 12 указывается источник иллюстративной цитаты; например: *быть, как боги* ‘о тех, кто является всемогущим или непревзойденным в чем-л.’: *Бьет пот, превращающий на века / художника – в бога, царя – в мужика! / Вас эта высокая влага кропила, / чело целовала и жгла, как крапива. / Вы были как боги – рабы ремесла!*. (А. Вознесенский. Баллада работы); *золотой ключик* ‘о средстве, помогающем достичь успеха, счастья (перен.)’: *Золотой ключик к экономическому ренессансу Альбиона* (Литгаз., 1995);
- все другие выделения производятся с помощью разрядки (не подчеркиванием!), межбуквенный интервал – 1,5 пт.;
- в тексте короткое тире (–) и дефис (-) различаются размером и наличием / отсутствием пробелов: *Байрон – поэт-романтик; 60-е годы, XVI – XIX вв.*;
- сокращения типа *т. е.*, *т. к.* и под. набираются с неразрывным пробелом; *60-е, I-ого* – с неразрывным дефисом;
- в тексте используются кавычки “...”, если встречаются внутренние и внешние кавычки, то внешними выступают “елочки”: «... “...”»;
- ссылки на литературу включаются в примечания и подаются по мере появления источника в тексте. Рядом с цитатой указывается шрифтом “верхний индекс” (не автоматический) номер примечания, например: *Л. В. Щерба отмечал: “...”*¹. (Команду Word “вставить сноску” использовать нельзя!);
- при неоднократном цитировании автором статьи вводятся условные обозначения, например: *Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М.; Л., 1950–1965. Далее в тексте – БАС,* с указанием римскими цифрами тома и арабскими – страницы. Или: *Бунин И. А. Собр. соч.: В 6-ти тт. – М., 1987–1988. Далее в тексте указаны том и страница по этому изданию;*
- примечания даются в конце статьи, через строку, одним списком. Нумерацию следует производить вручную шрифтом “верхний индекс”: ¹...²...³... Формат: абзацный отступ 0,5 см, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1, фамилии авторов (с инициалами) цитируемых изданий печатаются курсивом. Издания (если это не имеет принципиального значения), а также общее количество страниц не указываются;
- материалы высылаются на дискете 3,5 с текстом в редакторе Word for Windows 95 (с сохранением в формате RTF) и в распечатанном виде с хорошим качеством печати, а также с нестандартными TTF-шрифтами (если они использовались при наборе);
- на отдельном листе приводятся сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, уч. степень, звание, должность, место работы, контактный адрес (и, если имеется, электронный), телефон.

Примечание. Неразрывный пробел выполняется командой [Ctrl + Shift + Пробел] или командой “Вставка” — “Символ” — “Специальные символы” — “Неразрывный пробел”; неразрывный дефис – [Ctrl + Shift + клавиша “-”] или: “Вставка” — “Символ” — “Специальные символы” — “Неразрывный дефис”; число в формате “верхний индекс” – Ctrl + Shift + клавиша “+” либо командой: “Формат” — “Шрифт” — “Верхний индекс”.



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гиришман Михаил Моисеевич – д-р филол. наук, проф. кафедры теории литературы и художественной культуры Донецкого национального университета, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования. E-mail: girshman@ukr.net .

Григораши Антонина Михайловна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Института иностранной филологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова. Тел.: (044) 253-27-24.

Гридина Татьяна Александровна – д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета. Раб. тел.: (343) 235-76-64.

Карабулатова Ирина Советовна – д-р филол. наук, проф., зам. директора, зав. сектором филологии Института гуманитарных исследований Тюменского государственного университета, советник ректора Аркалыкского государственного педагогического института им. И. Алтынсарина по международному сотрудничеству. E-mail: radogost2000@mail.ru .

Карпенко Маргарита Александровна – д-р филол. наук, академик АН ВШ Украины, проф. Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Раб. тел.: (044) 239-32-21.

Коновалова Надежда Ильинична – д-р филол. наук, проф. кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета, директор Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации. E-mail: sakralist@mail.ru .

Кормилов Сергей Иванович – д-р филол. наук, проф. кафедры русской литературы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. E-mail: profkormilov@mail.ru .

Кудрявцева Людмила Алексеевна – д-р филол. наук, проф. кафедры русского языка Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. E-mail: ros_mova@ukr.net .

Купина Наталия Александровна – д-р филол. наук, проф. кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского государственного университета им. А. М. Горького. E-mail: natalia_kupina@mail.ru .

Михайлова Ольга Алексеевна – д-р филол. наук, проф. кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского государственного университета им. А. М. Горького. E-mail: oamih@yandex.ru .

Петров Александр Владимирович – канд. филол. наук, доц. кафедры русского, славянского и общего языкознания Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. E-mail: liza_nada@mail.ru .

Петрова Галина Валентиновна – д-р филол. наук, старший научный сотрудник Отдела новой русской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) Российской академии наук.

Росовецкий Станислав Казимирович – д-р филол. наук, проф. кафедры фольклористики Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Раб. тел.: (044) 239-31-69.

Сидоренко Евдокия Николаевна – канд. филол. наук, проф. кафедры русского, славянского и общего языкознания Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. E-mail: ensidorenko@ukr.net .

Титаренко Елена Яковлевна – канд. филол. наук, доц. кафедры методики преподавания филологических дисциплин Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. E-mail: elenatit@mail.ru .

Федоров Владимир Викторович – д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой русской литературы Донецкого национального университета. E-mail: kalinkin.valeriy@dsmu.edu.ua .

Шепель Юрий Александрович – д-р филол. наук, проф. кафедры перевода Днепропетровского государственного технического университета. E-mail: 123zub@ua.fm .

СОДЕРЖАНИЕ

К юбилею Маргариты Александровны Карпенко

<i>Карпенко М. А.</i>	Первое письмо П. Й. Шафарика М. А. Максимовичу (1835 г.): восточно-славянские измерения (к 50-летию публикации).....	5
-----------------------	--	---

Актуальные проблемы современной русистики

<i>Кудрявцева Л. А.</i>	О языковой самоидентификации граждан Украины и государственной языковой политике.....	11
<i>Михайлова О. А.</i>	Толерантность как коммуникативно-прагматическая категория.....	15
<i>Купина Н. А.</i>	Советизмы в русском языке новейшего времени.....	19
<i>Коновалова Н. И.</i>	Сакральный текст как феномен языка и культуры.....	24
<i>Гридина Т. А.</i>	Ассоциативная стратегия языковой игры.....	28
<i>Карабулатова И. С.</i>	О проблемах формирования языковой личности нового типа в условиях глобализации, или новая евразийская языковая личность?.....	32
<i>Григораши А. М.</i>	Неология как актуальное направление современной лингвистической науки.....	37

Семантика и функционирование языковых единиц

<i>Сидоренко Е. Н.</i>	Языковые смыслы в современном русском языке: типология, средства выражения.....	41
<i>Титаренко Е. Я.</i>	Теория фазовой парадигматики русского глагола.....	47
<i>Шепель Ю. А.</i>	Разрешение полисемии производных в пределах словообразовательного ряда как лингвистического (словообразовательного) поля.....	51
<i>Петров А. В.</i>	Многокомпонентные сложные слова в русском языке (на материале терминов-субстантивов с глагольной основой).....	59

Литературоведение

<i>Петрова Г. В.</i>	“Стану буйства я жизни живым отголоском” (В. Я. Брюсов и А. А. Фет)	64
<i>Кормилов С. И.</i>	Характерные литературно-критические разборы в “Новом мире” 1960-х годов.....	69
<i>Гиришман М. М.</i>	Художественная целостность и ритм литературного произведения.....	82
<i>Федоров В. В.</i>	Об онтологической форме языка.....	89
<i>Росовецкий С. К.</i>	Еще раз о будущем литературы.....	92
	Правила оформления статей.....	98
	Сведения об авторах.....	99